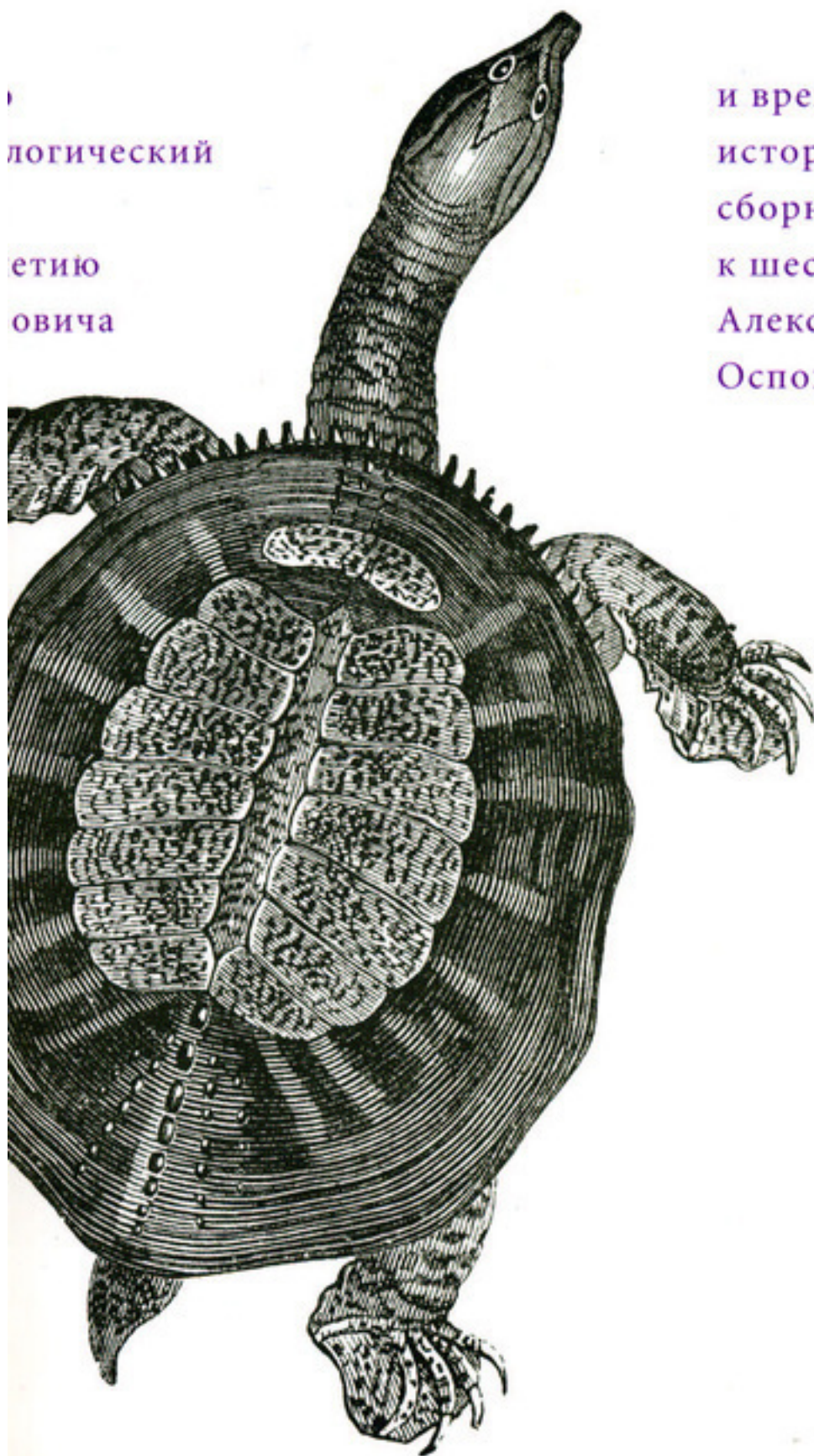


логический

етию
овича

и время и место
историко-филологический
сборник
к шестидесятилетию
Александра Львовича
Осповата



Новые материалы и исследования
по истории русской культуры

Сборник статей

**И время и место: Историко-
филологический сборник
к шестидесятилетию
Александра Львовича Осповата**

«Новое издательство»

2008

Сборник статей

И время и место: Историко-филологический сборник к шестидесятилетию Александра Львовича Осповата / Сборник статей — «Новое издательство», 2008 — (Новые материалы и исследования по истории русской культуры)

Историко-филологический сборник «И время и место» выходит в свет к шестидесятилетию профессора Калифорнийского университета (Лос-Анджелес) Александра Львовича Осповата. Статьи друзей, коллег и учеников юбиляра посвящены научным сюжетам, вдохновенно и конструктивно разрабатываемым А.Л. Осповатом, – взаимодействию и взаимовлиянию литературы и различных «ближайших рядов» (идеология, политика, бытовое поведение, визуальные искусства, музыка и др.), диалогу национальных культур, творческой истории литературных памятников, интертекстуальным связям. В аналитических и комментаторских работах исследуются прежде ускользавшие от внимания либо вызывающие споры эпизоды истории русской культуры трех столетий. Наряду с сочинениями классиков (от Феофана Прокоповича и Сумарокова до Булгакова и Пастернака) рассматриваются тексты заведомо неизвестных «авторов» (письма к монарху, городской песенный фольклор). В ряде работ речь идет о неизменных героях-спутниках юбиляра – Пушкине, Бестужеве (Марлинском), Чаадаеве, Тютчеве, Аполлоне Григорьеве. Книгу завершают материалы к библиографии А.Л. Осповата, позволяющие оценить масштаб его научной работы.

Содержание

Послание составителей Александру Львовичу Осповату	5
Александр Осповат – история «5»...	5
Кирилл Рогов	7
Примечания	17
Литература	19
Мария Неклюдова	21
Примечания	26
Литература	28
Рональд Вроон	29
Примечания	39
Елена Погосян	42
Примечания	54
Литература	56
Вера Проскурина	58
Конец ознакомительного фрагмента.	59

И время и место: Историко-филологический сборник к шестидесятилетию Александра Львовича Осповата

Послание составителей Александру Львовичу Осповату

Александр Осповат – история «5»...

Натан Эйдельман. Дневниковая запись от 1 сентября 1966

Дорогой Александр Львович!

1

Что касается времени, то *начинать*, как известно, *надо сразу*.

Это требует от нас опустить приличествующее случаю повествование о том, что Вы родились в Москве, закончили там школу и университет, трудились в Ленинской библиотеке и других культурных учреждениях, издавали и комментировали несвоевременные и неуместные, то есть замечательные, сочинения «второстепенных» писателей XIX века, создавая тем самым *другую* историю русской литературы, споспешествовали формированию неповторимого облика издательства «Книга» и его знаковой серии «Памятные книжные даты», закладывали фундамент словаря «Русские писатели, 1800–1917», щедро и весело помогали коллегам (старшим, сверстникам и младшим), а затем стали профессором университета Калифорнии (Лос-Анджелес), – и обратиться к сути дела.

Для всех нас есть места, гением которых Вы остаетесь.

Идея этой книги возникла в одном из таких мест – в Резекне. «Тыняновские чтения», как и другие начинания неширокого круга гуманитариев советского времени, чудесным образом пережили и «исторические катастрофы», и «изменение статуса науки», и «конец литературоцентризма», и все прочие ужасы, которыми исправно пугали и пугают нас.

Времена изменились, но не заставили нас отказаться от назначенных мест.

Что до катастроф, то обретение виз оказалось не таким ужасным делом. Социальный статус иных участников турнира действительно переменялся, но нельзя сказать, чтобы понизился. Разъехались, конечно, многие, но ведь съезжаются в известное время в известные места, покровительствуемые известными гениями. В том числе и в Москву, жителем которой Вы не перестали быть, отправившись работать за океан.

Да, на Западном побережье США Вы – свой. Но и Профессорская аудитория РГГУ, и Ленинка, и раскинувшийся вблизи Вашего гостеприимного московского дома Ленинградский рынок – без Вас по-прежнему неполные.

Еще одно из этих мест – Тарту. Здесь Вас всегда любят и ждут старые и новые собеседники и слушатели.

2

Что касается места, то *промежуток*, как мы знаем, *должен быть небольшим*.

Авиасообщение способствует этому – позавтракав в Калифорнии, можно поужинать в Москве. Хотя в промежутке очень хочется курить.

Ваша научная работа может быть описана как последовательное сокращение расстояния между традиционной историей литературы и другими историческими рядами. Ваши любимые герои – люди небольшого промежутка: постоянно пересекающий границу быта и литературы Тютчев; метеором мечущийся по жизни Аполлон Григорьев; превративший свое земное бытие в головокружительную легенду Александр Бестужев; русские путешественники и граждане мира Александр Тургенев и князь Петр Козловский и, разумеется, Пушкин, без которого никогда и нигде не обойдешься.

Ваш фирменный прием – неожиданная проекция общеизвестного, давно описанного текста на скрытый (и впервые разысканный или замеченный) биографический, идеологический, исторический контекст, высекающая новые смыслы, из казалось бы, безнадежно понятного. Этот постоянный (и столь часто успешный) поиск утаенного складывается в Ваших работах в неповторимый и целостный взгляд на словесность как на способ не только высказывания, но и сокрытия, возвращая нам острое чувство драматического диалога «жизни» и «текста».

Промежуток, которому Вы посвятили свои основные труды, крайне непродолжителен: некоторые из родившихся в екатерининские времена дожили до эпохи Великих реформ. Этот промежуток предстает перед читателями в Ваших работах не только как время, меняющееся то плавно, то катастрофически, но и как место пересечений индивидуальных биографий, внешних обстоятельств, пространство постоянной переклички голосов.

Надеемся, что праздничный сборник хотя бы отчасти станет не только отражением нашей любви, но и моделью такого пространства.

Все-таки среди вкладчиков есть с десятков Ваших явных соавторов, а все остальные – потаенные и ждущие надлежащих места и времени.

3

Ну вот, наконец-то здесь нашлись и место, и время сказать то, что мы сказали.

Москва – Тарту – Лос-Анджелес 11 апреля 2008 года

Кирилл Рогов

Из комментариев к латинской оде Феофана 1727 года К поэтике панегирика

1

Достоверная история одического жанра в России вряд ли обойдется без хотя бы краткого упоминания латинской оды Феофана Прокоповича на прибытие Петра II в Новгород накануне коронации¹. Опыт Феофана оказался вписан в эту историю прежде всего рукой В.К. Тредиаковского, уделившего ему неожиданно большое место в своем «Разсуждении о оде во обще» [Тредиаковский 1734]. Несмотря на то что «Разсуждение» следовало за текстом «Оды торжественной о здачѣ города Гданска» – первым опытом «намюровской» оды на русском языке – и самим своим заглавием отсылало к «Discours sur l'ode» Буало, его реальное содержание вовсе не является простым переложением опуса Буало, но непосредственно вводит нас в круг литературных дебатов конца 1720-х – начала 1730-х годов в России.

Как отмечено в недавних исследованиях, обращение Тредиаковского к намюровской оде, по всей вероятности, было инспирировано петербургскими немецкими академиками и поэтами, указавшими русскому литератору на образцы «возобновленной» Буало пиндарической поэзии в качестве альтернативы «школьной» горацианской оде, господствовавшей в поэтиках и панегирической практике начала XVIII века в России [Алексеева 1996], [Алексеева 2005: 91-128]. Вместе с тем, предлагая опыт в «новом вкусе» и транслируя в своем «Разсуждении» аргументацию Буало в его защиту, Тредиаковский отнюдь не выступает его безоговорочным апологетом. Напротив, воспользовавшись апелляцией Буало к псалмам Давида для защиты принципов «одического восторга», он указывает на опыт Феофана как на пример неолатинской оды, не только достигающей, благодаря вмонтированному в нее парафразису псалма, требуемого новой школой поэтического парения («вознесения к высоте <...> какое Господин Буало Депро иметь приказывает»), но и превосходящей в результате «Пиндара и Горация, Буало и Малгерба» ([Тредиаковский 1734: л. 14 об.]; о контаминации двух концепций «восторга» у Тредиаковского см.: [Живов: 252–253]). В совокупности этим рассуждениям посвящена целая страница из трех с половиной, уместивших теоретический увраж Тредиаковского.

Позиция Тредиаковского становится понятнее, если учесть, что в первом своем опыте русской оды – оде на годовщину восшествия на престол Анны Иоанновны (1733) – он ориентируется еще на горацианскую традицию и, видимо, под влиянием Феофана использует эпиграф-камертон из псалма 117. Более того, предстающий нам в 1730–1731 годах в Москве почти галантным литератором, имеющим успех при дворе, в первой половине 1732 года в Петербурге Тредиаковский не просто появляется в кругу Феофана, но и оказывается отчасти вовлечен в идейнолитературную полемику, которую ведет этот круг с «нелюбящими ученой дружины»: по просьбе Феофана он публично читает первую сатиру Кантемира в кругу церковных иерархов, а также вступает в полемику с Платоном Малиновским по поводу собственных духовных стихов («псалмы») [Пекарский: 2,37], [Успенский, Шишкин: 154–159], в сочинении которых, видимо, также следует дорогами, проложенными Феофаном (ср. Феофановы опыты переложения псалмов, предпринятые около этого времени [Автухович]).

В целом же латинская ода Феофана и ее рецепция в поэтической практике и теоретических построениях Тредиаковского начала 1730-х годов указывают нам приблизительные хро-

нологические рамки весьма важного эпизода той эпохи в истории новой русской литературы, когда ее эволюция преимущественно мыслится на путях латино-русского поэтического двуязычия. К предистории этого эпизода, собственно, должна быть отнесена большая часть панегирической поэзии петровского времени – от «*Gloria et Triumpharum*» Ильи Копиевского (1700), представляющего собой макаронический русско-латинский текст, до стихотворных приветствий Петру I начала 1720-х годов [Либуркин: 148–162], [Алексеева 2005:52–70]. Однако кульминация поисков в этом направлении приходится на конец 1720-х – начало 1730-х годов, когда, опираясь на опыт латинской и новолатинской поэзии, Феофан Прокопович и Кантемир предпринимают попытки обновления жанрового репертуара, поэтики и синтаксиса русской силлабики [Пумпянский: 178], [Николаев 1995], [Николаев 1996:131–132]. Сам Феофан предстает нам как прежде всего неолатинский поэт – подавляющее большинство его русских стихотворений являются автопереводом или переложением с латыни (ср.: «Писал стихи по латыне и потом сам же перевел некоторые на русский язык стихами силлабического размера» [Чистович: 598], ср.: [Либуркин: 49-120]). Именно латинизм становится литературным кодом полемики, ведущейся кружком Феофана со сторонниками староцерковной партии (сюда следует отнести и первые сатиры Кантемира, и поэтическую переписку по их поводу Феофана, Феофила Кролика и Кантемира, и, наконец, эпиграммы и сатиру Феофана на Георгия Дашкова; ср. [Либуркин: 107–108, 119-120, 162–170, 186–190]). Еще одной точкой приложения усилий «латинской партии» становится панегирическая поэзия.

Эпоха, открытая восшествием на престол Петра II, стала временем заметного оживления поэтических поисков. При этом в панегирической практике 1727–1732 годов мы наблюдаем явную конкуренцию латинского и немецкого языков. Так, на помолвку Петра II с дочерью князя Меншикова 25 мая 1727 года сразу два члена Академии, И.-С. Бекенштейн и Т.-З. Байер, отозвались стихами на немецком и латинском языках соответственно [Материалы АН: I, 260–263], [Быкова и др.: № 620 и № 621]; немецкая ода пишется Бекенштейном на день рождения сестры царя Натальи Алексеевны 12 июля 1727 года [Материалы АН: I, 263–266], [Быкова и др.: № 622]. Накануне коронации Феофан подносит царю латинскую оду в Новгороде, а Академия отзывается на коронацию вновь латинскими и немецкими поздравительными стихами [Материалы АН: 1,415–431]. Первый год царствования Анны Иоанновны отмечен двумя латинскими панегириками, сочиненными учениками Академической гимназии, – поздравление принцу Эммануилу в сентябре 1730 года (здесь к латинскому тексту были выполнены русский – В.К.Тредиаковским – и немецкий переводы; см. [Материалы АН: I, 637–640], также [Либуркин 2000:203–207]) и поздравление Анне Иоанновне на день ее рождения 28 января 1731 года [Материалы АН: II, 10–12]; [Либуркин 2000:190–196]. Причем над переложением последней «оды» на русский язык работал Кантемир [Кантемир: 211–213, 465-466].

Продолжением этой языковой конкуренции станут стихи, приуроченные к различным мероприятиям масштабных торжеств по случаю возвращения императрицы в Петербург в 1732 году. Здесь впервые выступает на российской панегирической сцене Г.В. Юнкер [ПнВ 1732, ч. I от 3 января; ч. XXII от 16 февраля]. В то же время, по установившейся традиции, в «Примечания на Ведомости» от «двух членов Академии» были присланы «стишки латинские и немецкие» [ПнВ 1732, ч. XXII от 16 февраля], а поднесенный Тредиаковским императрице прозаический «Панегирик» был сопровожден русскими стихами, ориентированными, впрочем, на «школьную» (латинскую) традицию [Тредиаковский 1732]. Попытки Тредиаковского утвердить русский стихотворный панегирик в качестве самостоятельного элемента церемониальной придворной культуры будут продолжены в начале 1733 года («Стихи на новый год» и упоминавшаяся ода на день восшествия). Однако обстоятельства жизни императрицы, а в особенности, видимо, вкусы ее окружения и авторитет Юнкера предопределяют победу «немецкой партии» в борьбе за язык торжественной поэзии. В результате с 1733 года вплоть до начала 1740-х

немецкий язык становится основным языком официальной панегирической поэзии, что окончательно определяет и направление ее жанровой эволюции.

Как видим, партизанами латинского стихотворного панегирика на рубеже 1720-1730-х годов выступают Феофан Прокопович (помимо оды, он сочиняет несколько панегирических латинских эпиграмм Петру II и Анне Иоанновне [Феофан 1961:216–219]) и близкий к нему академик-немец Т.-З. Байер (страстный латинист, Байер вспоминал, что выучился думать на латыни еще во время учебы в Кенигсберге [Пекарский: 1,181–182], латинские гимназические стихи 1730–1731 годов также инспирированы, по-видимому, Байером, надзиравшим за академической гимназией, ср. указание Г.-Ф. Миллера [Материалы АН: VI, 197]). В то время как опыты переложения латинских текстов на русский или создания их аналогов в 1730–1733 годах предпринимают тот же Феофан, Кантемир и Тредиаковский.

Таким образом, «Рассуждение» Тредиаковского, представлявшее русскому читателю новую «европейскую» форму оды, в то же время принадлежит еще тому этапу истории русской словесности, когда окончательный выбор в пользу европейских образцов не сделан и неолатинская традиция выглядит естественным и многообещающим источником обновления русской стихотворной культуры. С другой стороны, поднесение в 1728 году Феофаном двенадцатилетнему правителю печатной латинской оды, а не русского стихотворного панегирика (что было Феофану вполне по силам) также приобретает в этом контексте определенные культурно-политические коннотации.

2

Ода Феофана введена была в оборот историко-литературных штудий П.Н. Берковым, предложившим рассматривать ее содержание в контексте обострившегося после воцарения Петра II противостояния Феофана и староцерковной партии в Синоде (Феофилакт Лопатинский, Григорий Дашков, Игнатий Смола). По мысли ученого, вмонтированный в оду парафраз сотога псалма («Милость и суд воспою тебе, Господи...»; у Феофана ст. 28-562) скрывает в себе острую инвективу в адрес врагов Феофана, а потому может быть охарактеризован как «один из первых случаев применения эзопова языка в русской литературе» [Берков 1968: 41–42], [Берков 1971]. Отдавая дань проницательности ученого, не только первым указавшего на роль новолатинской поэзии для прелиминарного периода новой русской литературы, но и почувствовавшего напряженность политических модуляций в оде Феофана, мы все же склонны видеть в использовании понятия «эзопов язык» по отношению к панегирическому тексту первой трети XVIII века решительный анахронизм. В целом подход П.Н. Беркова несет в себе отпечаток того отношения к панегирику, которое предписывало рассматривать его либо как обыкновенную лесть, либо рационализировать в духе позднего XVIII века, вменяя ему инструктивные функции – идеализацию властителя в целях «воспитания» и в любом случае игнорируя собственно поэтику панегирика, искать в нем улики сверхжанровой задачи. Вместе с тем нашей целью здесь является не столько опровергнуть, сколько развить мысль ученого, предложив, однако, более корректный инструментарий для анализа поэтики панегирика, его поэтического и политического языка.

Прежде всего следует иметь в виду, что, несмотря на очевидные литературные достоинства, ода Феофана является не только и не столько самостоятельным литературным произведением, сколько литературным элементом целостного панегирического текста, созданного новгородским архиепископом по случаю прибытия в город Петра II. Этот панегирический текст, известный нам благодаря составленному самим Феофаном описанию новгородских торжеств [Феофан 1789], в свою очередь был частью (или вариацией) обширной панегирической программы, созданной Феофаном к московской коронации Петра II. Дело в том, что еще в октябре 1727 года Верховный тайный совет поручил Синоду подготовить программу украшений три-

умфальных коронационных врат [Чистович: 228], [Тюхменева: 44–47, 303–309], и задание это было выполнено Феофаном («Эмблемы и символы к триумфальным воротам <...>. По рассуждению Феофана, архиепископа Новгородского»; впервые опубликовано [ОДДС: стлб. CLIX–CLXXI], здесь цит. по [Тюхменева: 235–242]). Подготовленные Феофаном предложения к московской коронации и программа новгородских торжеств, органической частью которой была и латинская ода, обнаруживают черты явственного тематического и смыслового единства.

Помимо картин, трактовавших тему божественного происхождения царской власти, и картины, изображавшей встречу Петра II Феофаном «с причтом и народом» (по сценарию Феофана царя встречали вне города отроки в белых одеждах «числом близко четырех сот» [Феофан 1789: 485]), две большие картины новгородских триумфальных врат, обращенные к городу, представляли царя Соломона: на одной он сидит на престоле, с подписью «Седе Соломон на престоле Давыда Отца своего, сый двенадцати лет», на второй – молит Господа «Дажь рабу твоему сердце смысленно». По сторонам ворот были помещены картины «суда и сдания церкви Соломоновой» [Феофан 1789: 488–489]. Все эти картины с вариациями присутствуют и в программе Феофана для московских триумфальных врат, причем картина, изображающая Соломона на престоле с той же подписью, является первой большой картиной московской программы [Тюхменева: 235]. Кроме того, в программе московского триумфального декора присутствовала картина следующего содержания: «Статуя, от Петра Перваго недоделанная (которую эмблемою он означал владение свое), и Петр Первый, вечностию горе возносимый, смотря на Петра Второго, на земле стоящего и орудия статуарныя держащего, велит ему доделовать статую <:> слово, которое в надписании сем: Крепись и соверши. А сие слово есть Давидово к Соломону» ([Тюхменева: 238]³. Всего же из 36 больших картин, предложенных Феофаном для московской коронации, семь посвящены Соломону.

Таким образом, сравнение Петра II с царем Соломоном становится, по замыслу Феофана, фактически центральным сюжетом эмблематической программы коронационных торжеств. «Сильное место» этого развернутого в целой серии аппликаций «приклада» – упоминание о возрасте Соломона, совпадающем с возрастом царя-отрока в момент коронации (указание на возраст Соломона действительно присутствовало в стихе 12 2-й главы 3-й Книги царств во всех церковнославянских изданиях Библии – острожском, алексеевском 1663 года и елизаветинском, над которым в 1727 году велась работа, – и восходило к греческим источникам (Септуагинте), в то время как в Вульгате, основанных на ней переводах на основные европейские языки и позднейших русских переводах оно отсутствует). В результате коронация Петра II осмысливается в проекции на историю восшествия на престол Соломона, которому, по указанию Божьему, Давид (=Петр I) передает трон. Соответственно, справедливый суд и построение храма Господня должны стать главной программой нового, «Соломонова» царствования (и тот и другой сюжеты присутствуют в картинах как новгородской, так и московской программ).

В панегирической традиции царствование Соломона трактуется как наступающая после эпохи войн во времена Давида эпоха благоденствия и процветания. В таком ключе тема преемственности двух царствований была впервые развита еще Симеоном Полоцким в стихотворном панегирике Федору Алексеевичу «Гусль доброгласная» (1676) (ср. здесь «Отец твой, яко Давид, царствовал, / Ты соломонски царствуй, солнце наше» [Симеон: 154]). В слове на день рождения Петра II 12 октября 1727 года, темой которого избраны слова «Ищите прежде царствия Божия, и правды его, и сия вся приложатся вам» (Мф 6: 33), Феофан Прокопович иллюстрирует главную мысль, в частности, упоминанием о молитве Соломоновой, в которой он просил у Господа «премудрости спасительной», а «Бог ему приложил силу, славу, богатство, тихомире и вся прочая благая земли» ([Феофан 1760: II, 213]; этот сюжет отразится в картинах новгородского и московского триумфального декора с девизом «Дажь рабу твоему сердце смысленно»). Тема «тихомир/мироутиши/тишины» и справедливого суда, имплицитно мотив «Соломонова царствования», становится постоянным рефреном Феофановых

обращений к Петру II в 1727–1728 годах (ср. в слове на погребение Екатерины: «От тебе надемся сладких и здравых плодов истинного правосудия, государственного тихомирия» [Феофан 1760: II, 200]; ср. также в слове на день рождения: «<Господь> подаст победительную силу, якоже Давиду, изобильное миротишие, якоже Соломону, во всем благопоспешение, якоже Константину» [Феофан 1760: II, 219]; в поздравлении Петра по коронации: «даруя во дни твоя мир, тишину, и обилие плодов земных» [Феофан 1760: II, 226].

Еще две картины декора московских коронационных врат своей темой имели сотый псалом, парафразис которого стал составной частью новгородской оды. И если первая картина изображала царя Давида «брющего на гусли» с девизом «Суд и милость воспою тебе, Господи», то вторая выглядела эмблематической иллюстрацией к стихам Феофана: «Власть царская, в пристойном лице злобу видом скардную, но ласковою машкарою украшающую себя, содрав машкару отгонит прочь. Надписание: Не прилеп мне сердце лукаво» [Тюхменева: 238]. И это вновь обращает нас к вопросу о функции парафразиса в оде Феофана.

Печатный текст латинской оды был поднесен царю, в каком-то объеме знавшему латынь⁴, во время обеда в доме Феофана [Феофан 1789: 487]. Первая ее часть (ст. 1–27) рисовала картину пути Петра II в Москву для коронации при стечении народа, желающего видеть его «на престоле Отеческом сидящего» (эта поэтическая картина как бы «повторяла» состоявшуюся встречу царя Феофаном «с причтом и народом» у триумфальных врат); следующая часть изъясняла ожидаемый подданными характер правления Петра, и именно для этого изъяснения Феофан прибегнул к тексту сотого псалма, что указывает на «приуготовительный» характер новгородского торжества по отношению к московской коронации.

Дело в том, что согласно чину венчания сотый псалом пелся в тот момент, когда государь и коронационная процессия входили в Успенский собор. Причем элемент этот был введен в чин лишь при короновании Екатерины I в 1724 году [Описание коронации: 9], и, видимо, не без участия Феофана. Так, еще в 1720 году в «Слове в день Александра Невского» Феофан говорит: «Воистину может всяк по званию своему ходящий Государь, и могл Александр наш неложно о себе с Давидом воспевати: *милость и суд воспою тебе Господи* и прочая словеса Псалма того, в котором Государских должностей аки зеркало представляется» [Феофан 1760: II, 14]; в «Слове в день воспоминания коронации» Екатерины 1726 года Феофан вновь подчеркивает инструктивный для царствующих особ характер псалма («И для памяти должнства своего, имеют власти верховныя сокращенное себе учение преданное во образе Давида царя, и во псалме его, *милость и суд воспою тебе Господи*, описанное» [Феофан 1760: II, 180–181]). В Феофановом описании новгородских торжеств сообщается также, что во время обеда «пели собственные Архиерейские певчие псалмы Давыдовы к Царевым лицам написанные» [Феофан 1789, 487]. Таким образом, накануне коронации Петр II слушал и сам сотый псалом, и одновременно знакомился с его обработкой в латинской оде, что, видимо, давало Феофану случай прокомментировать и содержание псалма, и различие форм его презентации (собственно, еще одним прозаическим парафразом сотого псалма станет краткая речь, которую Феофан произнесет уже в Москве по коронации от имени всех чинов и в которой вновь специально объяснит значение слов «суд» и «милость» [Феофан 1760: II, 225–226]).

Итак, в целом можно сказать, что коронационная панегирическая программа, воплощенная Феофаном в проекте как московских торжественных врат, так и новгородского приуготовляющего предторжества, имела несколько смысловых доминант. Во-первых, представляла начало нового царствования как богопромысленный переход скипетра от Давида (= Петра I) к Соломону (= Петру II), актуализируя традиционную интерпретацию царствования Соломона как эпохи государственного «тихомирия» и преуспевания, ключом к которому стала молитва Соломона о даровании мудрости. Неотъемлемой характеристикой правления, соответственно, становился также справедливый суд («суд соломонов»), в котором явлена была дарованная мудрость, а сотый псалом, понимаемый как боговдохновенное завещание Давида относительно

должности правителя, фактически пояснял суть и принципы такого суда. При этом формула «суд и милость» не имеет у Феофана того просветительско-гуманистического смысла, который мог придаваться ей позднее: «суд» понимается как обязанность государя карать неправедных, а «милость» – награждать и приближать к себе праведных⁵.

3

Предваряя программу коронационного декора, направленную Верховному тайному совету, Феофан писал: «По моему разсуждению символы и эмблемы, то есть тайно образующия вещей подобия, которые к Императорской коронации приличествуют, двоевидные быть имеют: первые, славу коронации изъявляющие, в которых образуется честь высокая, власть верховная, достойное наследие, и кто и по кому наследием приемлет скипетр, и проч.; другие, показующие добродетели государю должныя...» [Тюхменева: 235]. Смысловая насыщенность панегирического концепта, измышленного Феофаном для коронационных и предкоронационных торжеств 1728 года и изъясняющего смысл коронации в отношении к вопросу, «кто и по кому наследием приемлет скипетр», становится вполне понятна лишь на фоне предшествующей традиции.

Образ царя Давида – один из самых распространенных в панегирической топике царствования Петра I. Уже в 1690-е годы он возникает в сюжете «Давид и Голиаф» (сначала в применении к войне с турками и лишь затем – с Карлом XII) и трактуется как образ чудесной победы над превосходящими силами противником, актуализируя героику личных доблестей Петра-воина. В дальнейшем противопоставление «на-гости» пастуха Давида и воинского совершенства Голиафа все отчетливее трактуется в религиозно-моралистическом ключе: как противопоставление «гордости» и «упования на Бога» – и в таком значении канонизируется в полтавском панегирическом цикле (о склонности самого Петра к такой трактовке см. [Мартынов: 146]). Однако в 1710-1720-е годы образ «Давида-пастуха» решительно уступает место образу «царя Давида» – основателя Нового Израиля (сюжет «Давид и Голиаф» останется актуален лишь в контексте воспоминания побед 1702–1709 годов). Новая тема разворачивается в серии метонимических аппликаций Гавриила Бужинского («столп Давидов» = Петербург: «Сей (Петербург. – К. Р.) един второму Иерусалиму, Российскому государству, стена крепкая и оный столп Давидов...» [Гавриил 1784: 25]; «ключ дома Давидова» = Шлиссельбург [Гавриил 1784:108–142]), но наибольшей идейной насыщенности достигает у Феофана Прокоповича.

В «Слове в неделю цветную о власти и чести царской...» (1718) отсылкой к Давиду будет поддержано утверждение об «апостольской» должности царей – их праве устраивать и наблюдать духовный чин в государстве («Разделяет Давид священники на двадцать четыре чреды, определяет всякому их чину делослужения» [Феофан 1760:1,258]); противящихся нововведениям Петра Феофан уподобляет противящимся входу Давида в Иерусалим иевусеям («Возобнавилася нам, воистину история о Давиде, на его же и слепии, и хромии, бунт поднесли» [Феофан 1760:1, 263]); в том же смысле имя Давида будет упомянуто и в «Слове на погребение» Петра: «Се же твой о церкви Российския! и Давид и Константин: его дело, правительство Синодальное, его попечение пишемая и глаголемая наставления» [Феофан 1760: II, 130]. Однако в «Слове при начатии Святейшаго Правительствующаго Синода» тремя годами позже Феофан для развития мысли о патронате царской власти над властью духовной уже не довольствуется ссылкой на «разделение черед» Давидом и прибегнет к новому панегирическому концепту: «И когда о сем помышляющим нам приходила на память Давидова история, которому благоволивый Бог прославится победительным оружием, и всего Израиля утверждением, не благоволил создати церковь свою <.. > но оставил тое дело наследнику его Соломону. Помышляли мы малодушнии (и исповедуем неискусство наше), что подобным, как Давиду, образом подав тебе Бог толика в гражданстве и воинстве славы, славу церковнаго исправления иному по

тебе отложил. И се солгало мудрование наше. Се видим данную тебе от Бога и Давидову и Соломонову славу» [Феофан 1760: II, 69].

Формула «и Давид, и Соломон» встречается у панегиристов и раньше (см. поздравительную речь Петру 14 сентября 1713 года [Гистория: 2, 466–67]), однако более распространенным в панегирической топике было противопоставление двух царей. При этом панегиристы петровского времени используют это противопоставление для доказательства богоугодности войны: прямое указание Господа Давиду не строить храма, оставив это своему наследнику, рассматривается как свидетельство Божьего благоволения к тому, что Давид (= Петр) проводит «все дни свои во бранех» (ср. у Стефана Яворского в проповеди «Третья сень...» (1708) [Стефан 1875: № 3, 640] и подробно – у Гавриила Бужинского в слове «О победе полученной у Ангута» (1719) [Гавриил 1784: 83–85]). Отказываясь и отталкиваясь теперь от этого топоса, переосмысленную панегирическую формулу «и Давид, и Соломон» Феофан еще раз использует в «Слове на похвалу <..> Петра Великаго», 29 июня 1725 года («.. в священной истории, Давид оружием, а Соломон политикою блаженство Израилю сотворил. А у нас и се, и другое, да еще в бесчисленных и различных обстоятельствах совершил един Петр: нам и Ромул и Нума, и Давид, и Соломон един Петр» [Феофан 1760: II, 152–153]).

Другим «прикладом», распространяющим тему «Давида» в панегирической топике петровского времени, становится сюжет «Давид и Авессалом». Панегиристы достаточно рано начинают искать ему место в творимой ими истории петровского (= Давидова) царствования. Так, сначала мотив этот возникает в рамках полтавского цикла в связи с изменой Мазепы (ср. в «Стихах на измену Мазепы...» Стефана Яворского, а также в пьесе «Божие уничижителей гордых, в гордом Израиля уничижителе чрез смиренна Давида уничиженном Голиафе уничижение вкупе же и праведное его в отцегубителе Авесаломе. Образ всех ковников и изменников отцу своему...» [Пьесы школьных театров: 228–238]). Гавриил Бужинский в «Слове в похвалу Санктпетербурга» (1717), развивая тему «Давида Российского» – основателя Нового Израиля и вспоминая перипетии петровского царствования, не совсем ловко применит этот образ к восставшим против царя стрельцам, назвав их «вторыми на незлобиваго Давида гонителями Авессаломами» [Гавриил 1784: 5].

Новый смысл приобретает этот мотив после суда над царевичем Алексеем и его смерти. Христиан Вебер, брауншвейг-люнебургский резидент, находившийся в Петербурге в это время, пишет в своих знаменитых мемуарах: «Присутствовавшие на похоронах (царевича Алексея. – К.Р.) уверяли, что его величество, провожая тело сына в церковь, горько плакал и что священник для подобной речи своей взял текстом слова Давида: «Ах, Авессалом, сын мой, Авессалом» [Вебер: 1458]. Аллюзия эта становится обычной у панегиристов (ср. Феофан Прокопович в «Слове о состоявшемся между империею и короною российскою мире» [Феофан 1760: II, 90–91] и Гавриил Бужинский в «Службе о мире с Швецией»: «подвижесе всему сопротивное с(е)р(д)це Авесаломле, не токмо дѣла о(те)ческая тщашеся опровергати, но здрав!я его ищущее» [Гавриил 1722: л. 7 об. – 8]) и даже появляется в важнейшем официальном документе – петровском указе о новом порядке престолонаследия 1722 года («Понеже всем ведомо есть, какою авесаломскою злостью надмен был сын наш Алексеи. При этом она играет роль не только объясняющего прообраза трагических событий 1717–1718 годов, но используется в качестве одного из важнейших аргументов в пользу законности нового порядка престолонаследия. В написанном Феофаном по указанию Петра сочинении «Правда воли монаршей во определении наследника державы» история передачи престола Давидом Соломону становится ключевым примером. Следовавший за теоретической частью сочинения раздел «Екземпли» Феофан начинает тем, что приводит сорок один случай передачи власти не по старшинству из мировой истории, затем следуют пять примеров того же рода из истории священной, а затем Феофан пишет: «Шестые пример есть дивнии и славнии, и которым единым довольно разсуждаемое от нас предложеше утверждается» [Феофан 1722: 55]. Этот шестой пример – история

передачи власти Давидом по Божьему внушению Соломону, минуя и старшего сына Авессалома (восставшего на родителя), и следующего за ним Адония.

Таким образом, наиболее решительные и прецедентные нововведения последних лет петровского царствования – реформа церковная и изменение порядка престолонаследия (непосредственно ущемлявшее права малолетнего Петра II) – интерпретировались и оправдывались Феофаном с помощью проекций на историю царствований Давида и Соломона, действовавших по внушению Божию в утверждении царства Израильского.

4

На этом фоне, вряд ли вполне отчетливым для юного Петра II, но отчетливо памятным противникам Феофана (достаточно упомянуть о доносе, поданном незадолго до того Маркеллом Родышевским на Гавриила Бужинского с обвинениями в «великом поношении чести Алексея Петровича» в процитированных нами выше словах из «Службы о мире» 1722 года и о запрещении службы Верховным тайным советом [Чистович: 243–244]), смысл эмблематической программы, сочиненной Феофаном к коронации Петра II, становится особенно выпуклым. Отказываясь от панегирической формулы правления Петра I как объединяющего в себе Давидово и Соломоново царствования, Феофан интерпретирует теперь восшествие Петра II как совершаемую по Божьему умыслу передачу скипетра от Давида к Соломону, а система библейских аллюзий и «экземплей», использованная ранее для легитимации новаций Петра I, употреблена теперь для объяснения нового «переворота» российской истории и инсталляции программы начавшегося царствования как наследующего петровскому, подобно тому как Соломон наследовал Давиду в исполнении божественной «программы» утверждения Израиля – строительстве храма (ср. картину московских триумфальных врат с недоделанной статуей России, к которой девизом избраны слова Давида Соломону «Крепись и соверши»). Это обращение к библейскому прообразу событий современной российской истории имплицитно деактуализирует реальные династические перипетии предыдущего десятилетия и упоминания как о родителях царя, так и о Екатерине, по которой Петр II в реальности наследует престол. Все это приобретает теперь статус тех преткновений, которые, как это было и в библейской истории, в конце концов оказываются лишь свидетельством несокрушимости божественного предначертания.

К утверждению мысли о сугубо провиденциальном, не по рассуждениям человеческим совершающемся выборе наследника престола клонился и еще один элемент панегирической программы новгородской встречи – фейерверк, на котором представлена была монограмма имени царя под короной и надпись «от Господа бысть сие» [Феофан 1789: 487]. На поверхностный взгляд эмблема фейерверка может быть понята как очередное напоминание о божественном происхождении царской власти, однако обращение к контексту использованной в девизе библейской цитаты раскрывает нам существенно более острый смысл композиции. Слова девиза отсылают к знаменитому месту в псалме 117 об отвергнутом строителями камне, который оказался краеугольным. И в сравнении отрока Петра II с Соломоном, и в новгородском фейерверке для Феофана заключена одна и та же мысль: воцарение Петра II есть не столько исполнение того или иного порядка престолонаследия, но явленное чудо Божьего промысла, повторяющее (или «возобновляющее нам», как сказал бы Феофан) историю передачи власти от Давида к Соломону.

Случай еще раз развернуть и эксплицировать эту мысль представится Феофану в третьем акте той же драмы, когда ему придется панегирически толковать новый династический кульбит российской истории – воцарение Анны Иоанновны. Главным сюжетом его «Слова на день восшествия <...> Анны Иоанновны. О том, что власть царская собственным промыслом Божиим получается», произнесенным 19 января 1733 года, вновь оказывается история царя Давида.

«Ни что же мне так не дивно, как Давидово на царство возведение. В единой сей Истории пречудный имеем приклад, как то и умыслы и труды человеческия изволению Вышняго не могут препятствовать» [Феофан 1760: II, 84]. Подробно пересказав, как объявленному Божьему благоволению к Давиду препятствовали Саул и прочие и как, несмотря на это, предначертанное свершилось, Феофан объявляет все это совершенно сходным с невероятным по житейскому разумению появлением на российском троне Анны Иоанновны. Впрочем, не забывает он и истории Соломона и, развивая ту же мысль, вспоминает сыновей Давида – Авессалома и Адония: «чего они, один при житии, а други при кончине отца своего не делали», чтобы получить трон, удивляется Феофан, но не смогли воспрепятствовать Божьему предопределению [Феофан 1760: II, 182].

Разумеется, эмоциональная и эстетическая насыщенность новгородской встречи имеет вполне конкретный исторический и политический подтекст. Достаточно вспомнить, что следующей остановкой Петра II на пути в Москву должна была стать Тверь – вотчина тверского архиепископа Феофилакта Лопатинского, претендовавшего на роль интеллектуального лидера противной Феофану партии. Это противостояние проявилось и при обсуждении программы воспитания царя в Верховном тайном совете летом 1727 года, куда Феофана даже не пригласили, и при поручении о составлении картин к коронационным торжествам (в поручении были указаны имена обоих архиепископов). Наконец, важнейшей победой Феофилакта стало принятое в ноябре 1727 года на основании его собственноручного заключения решение Верховного тайного совета о печатании сочинения Стефана Яворского «Камень веры» [Протоколы: 710], что открывало дорогу внутрицерковной атаке против Феофана. Однако вряд ли своей одой и содержащимися в ней весьма общими указаниями на «злых и лстивых», «хитроклеветущих» и «ненасытных грабителей» Феофан надеялся направить недоброжелательство двенадцатилетнего государя на своих противников; он создает пусть и яркую, но вполне общую картину борьбы вокруг трона. Панегирическое вдохновение Феофана имеет, как представляется, несколько иную и более общую цель.

Отталкиваясь от остроумной аппликации, в которой «сближение» Соломона и Петра II мотивировано указанием на возраст, он навязывает юному царю экзальтированно провиденциалистский взгляд на историю, в рамках которого династические перипетии предшествующего десятилетия должны потерять свою актуальность. Более того, провиденциализм Феофана (как это было и в петровские времена) является способом конституировать царскую власть как непосредственно причастную божественной воле – имеющую эту волю своим источником и несущую прямую ответственность перед ней, и таким образом де-актуализировать доктрину о посреднической роли церкви между царями земными и царем небесным. Взгляд на события текущей истории как на отражения и «повторения» событий истории священной позволяет Феофану смоделировать тот тип монархического пиетизма, который не нуждается в руководстве и аффирмации церкви, но является формой особого пастырского служения (ср. русскую эпиграмму, приведенную в конце феофанова описания новгородских торжеств: «Дал Петру стадо свое упасти спаситель, / дабы тем делом Христов явился любитель. / Бог и Петру Второму вручил стада многа / и сотвори известно, коль любит он бога» [Феофан 1961: 216]). Весьма характерно в этом контексте, что, отводя сотому псалму столь важную роль в коронационном обряде и желая подготовить царя к предстоящей процедуре и таинству миропомазания в своем новгородском действе предкоронации, Феофан предельно актуализирует содержание псалма (что столь точно почувствовал П.Н. Берков) посредством перевода его в иной, нецерковнославянский культурно-лингвистический контекст и таким образом придает каноническому тексту характер не просто религиозно-политической доктрины, но даже программы конкретных царских действий и жестов. Наиболее ярко этот метод барочной парафразы проявляет себя в интерпретации Феофаном стиха 6 сотого псалма, который превращается у него в целую строфу (см. примеч. 3). Здесь не только *fideles terrae* латинского текста псалма становятся *sancta Regi*,

sancta Deo Fides, но и ministrabit mihi («ми служаше» в церковнославянском переводе) становятся «министрами ближними» – adiunctos ministros. По этой же причине, вероятно, Феофан не создает полноценного русского аналога оды: русский текст, воспринятый на фоне канонического церковнославянского, выглядел бы слишком вольной интерпретацией и мог подвергнуться тем же упрекам и нападкам, которым подверглась «псалма» Тредиаковского⁶, что, в свою очередь, позволило бы усомниться в православности как самого метода Феофановой экзегезы событий священной истории, так и предлагаемой им модели «императорского благочестия».

В целом же можно сказать, что всей поэтикой новгородской встречи Феофан стремится навязать молодому Петру II специфическую систему идейных и эстетических представлений и самой стилистикой своих «ученых прозрений», неожиданных сближений и аппликаций, изощренностью латинского парафразиса коронационного псалма, превращенного в политическую программу, – всем тем, что составляло язык Феофанова рационализированного придворного барокко, – составить сильную конкуренцию клерикальному традиционализму староцерковной партии в глазах царя-отрока и его старших спутниц – царевен Натальи и Елизаветы⁷.

Примечания

¹ Ода создавалась к прибытию Петра II в Новгород, где он останавливался по пути в Москву, и отпечатана была в типографии Академии наук еще в 1727 году [Феофан 1727], ср. [Быкова и др.: № 623а и № 623б]. В Новгород царь прибыл в январе 1728 года. В номере «Санкт-петербургских Ведомостей» от 16 января сообщалось, что царя встречал новгородский архиепископ Феофан «при триумфальных воротѣх, которыя инвенціею Его Преосвященства самого преславно построены» [СПб. вед. 1728. № 5]; в следующем номере от 19 января вновь рассказывалось о пребывании царя в Новгороде, в частности упоминалось о том, что он осматривал достопримечательности и «изволил <...> поданные от Его Преосвященства нашего Архіепископа поздравительные стихи Всемиловейше принять» [СПб. вед. 1728. № 6]. (Здесь и далее при цитировании текстов, опубликованных в первой половине века, мы стремимся максимально передать оригинальную орфографию, орфография более поздних публикаций и републикаций унифицирована в соответствии с общепринятыми нормами.)

² Латинский текст парафразиса: «*Judicis optimi / Exempla praestabis, simulque / Et Domini specimen benigni. / T. Iustus ultor criminis horridi, / Saevum vibrabis fulmen in improbos, / Primumque mores versi-pelles, / Fraudis et artifices fugabis. / Mox et nocentes arte calumnias, / Mox et rapinas insatiabiles / Constante mactabis repulsa, / Atque animos reprimes superbos. / At quos probabit simplicitas pia, / Et sancta Regi, sancta Deo Fides, / Hos semper adiunctos ministros / Inque epulis socios habebis. / Sed turba vecors, et scelerum cohors, / Intrare postes nec poterunt tuos, / Quin, ut repurges civitatem, / Exitio celeri dabuntur*» [Феофан 1727: <Л. 2>]; в издании 1727 года *insaciabiles* мы считаем опечаткой и исправляем на *insatiabiles*. Русский подстрочник-автоперевод: «Судии праведнаго пример покажеш, / И купно образ милостивейшаго Государя явиши, / Ты праведный отмститель законопреступником. / Жестоко таковых накажеш, / А впервых злых и лстивых человек отженеши. / Вскоре и хитроклевещущих / Вскоре и ненасытных грабителей, / Казни жестокой предаши; / Смириши и укротиши сердца гордых, / И которые в простоте сердца / Богу и Царю верны явятся, / Тех всегда Министров ближних / И на пирах друзей возымееши; / А творящие гордыню и беззакония, / Не возмогут внити в дом твой; / И да очистиши град, / Вскоре казни предадутся» [Феофан 1789: 492–493].

³ Отметим здесь очевидную аллюзию не только на «эмблему императорскую» (см. о ней [Матвеев], [Рогов: 41–45]), но и на сочиненный Феофаном реверс погребальной медали Петра Первого (см., например, [Штелин:300,306]); заметим также, что эта инвенция Феофана – эмблема «статуя недоделанная» как отсылка к петровскому государственному мифу – будет фигурировать в эмблематических программах коронаций и Анны Иоанновны, и Елизаветы Петровны.

⁴ Ср. в программе обучения Петра II: «Но понеже Его Операторское Величество в Латинском, Нѣмецком, и Французском языках уже в толикое совершенство пришол, что кромѣ своего природнаго и оныя три языка разуметь и говорить может, того ради Его Величество в сем особливаго наставлеша больше не требует» [Расположение учений: 5–6].

⁵ См. наброски к истории рецепции формулы «суд и милость» в русской поэзии XVIII века [Кочеткова], впрочем, и рецепция сотого псалма в русской панегирической поэзии от Симеона Полоцкого до Феофана, и его роль в чине венчания русских государей остаются вне поля зрения исследовательницы.

⁶ Заглавия известных нам русских переложений псалмов Феофана указывают на то, что они делались также с латинского текста; таким образом, метафразисы Феофана представляют собой, по всей видимости, переложение латинского текста

в русские стихи, что соответствует общей поэтической практике Феофана. В связи с этим упомянутый выше эпизод полемики Платона Малиновского и Тредиаковского по поводу стихотворной «псалмы», сочиненной последним, может предстать в несколько ином свете. В своих показаниях Тайной канцелярии Платон Малиновский сообщает, что, стремясь отвести обвинения в кощунстве, Тредиаковский прислал ему «латинское письмо» и свою «псалму» [Успенский, Шишкин: 223, примеч. 146]. Не вполне понятно, почему «латинское письмо» должно было убедить Платона в каноничности стихов Тредиаковского; однако ситуация станет гораздо более объяснимой, если предположить, что Тредиаковский прислал письмо с латинским текстом псалма, легшего в основу его силлабического экзерсиса. Иными словами, текст «псалмы» Тредиаковского показался Платону кощунственным, так как был воспринят им на фоне церковнославянского, и, чтобы отвести эти упреки, Тредиаковский присылает латинский первоисточник (ср. в связи с этим упреки Евфимия Колетти Тредиаковскому в употреблении «иностранных наречиев» в его «псалмах» [Успенский, Шишкин: 223, примеч. 143]).

⁷ Весьма многие соображения и обстоятельства, относящиеся до истории и контекста комментируемого сочинения, остались по разным причинам здесь неотраженными. Но, как сказал бы, затянувшись и энергично выпустив дым в сторону той точки, где стена сопрягается с потолком, наш юбиляр: всего не упустишь.

Литература

- Автухович / *Автухович Т.Е.* Об авторстве Metaphrasis Ps. 36 и Ps. 72 // XVIII век. Л., 1986. Сб. 15.
- Алексеева 1996 / *Алексеева Н.Ю.* «Разсуждение об оде вообще» В.К.Тредиаковского // XVIII век. СПб., 1996. Сб. 20.
- Алексеева 2002 / *Алексеева Н.Ю.* Петербургский немецкий поэт Г.В.Фр. Юнкер // XVIII век. СПб., 2002. Сб. 22.
- Алексеева 2005 / *Алексеева Н.Ю.* Русская ода: Развитие одической формы в XVII–XVIII веках. СПб., 2005.
- Берков 1968 / *Берков П.Н.* Русские новолатинские и греческие поэты XVII–XX вв. // Annuaire de l'institut de Philologie et d'Histoire Orientales et Slaves. Bruxelles, 1968. Т. XVIII.
- Берков 1971 / *Берков П.Н.* Одно из первых применений эзоповского языка в России (латинская ода Петру II Феофана Прокоповича, 1727 г.) // Проблемы теории и истории литературы. М., 1971.
- Быкова и др. / Описание изданий, напечатанных при Петре I. Сводный каталог: Дополнения и приложения / Сост. Т.А. Быкова, М.М. Гуревич, Р.И. Козинцева. Л., 1972.
- Вебер / Записки Вебера о Петре Великом и его преобразованиях // Русский архив. 1872. Вып. 6–7, 9.
- Гавриил 1722 / *Гавриил Бужинский.* Служба бл(а)годарственная Б(о)гу <...> на воспоминаше заключенного мира между Имперією російскою и Короною Свѣйскою. В той же д(е)нь празднуется и пренесеше мощей с(вя)таго <...> великаго князя Александра Невскаго... СПб., 1722.
- Гавриил 1784 / *Гавриил Бужинский.* Полн. собр. поучительных слов, сказанных в высочайшем присутствии Петра Великаго. М., 1784.
- Гистория / Гистория Свейской войны. (Поденная записка Петра Великаго) / Сост. Т.С. Майкова. М., 2004. Вып. 1–2.
- Живов / *Живов В.М.* Язык и культура в России XVIII века. М., 1996.
- Кантемир / *Кантемир А.Д.* Собрание стихотворений. Л., 1956.
- Кочеткова / *Кочеткова Н.Д.* Библейский мотив «милость и суд» в русской литературе XVIII века // Труды Отдела древнерусской литературы. СПб., 1997. Т. L.
- Либуркин / *Либуркин Д.Л.* Русская новолатинская поэзия: Материалы к истории. XVII – первая половина XVIII века. М., 2000.
- Мартынов / *Мартынов Ф.И.* Три редакции «Службы благодарственной о великой победе под Полтавой» // XVIII век. Л., 1974. Сб. 9.
- Матвеев / *Матвеев В.Ю.* К истории возникновения и развития сюжета «Петр I, высекающий статую России» // Культура и искусство России XVIII века: Новые материалы и исследования. Л., 1981.
- Материалы АН / Материалы для истории императорской Академии наук. СПб., 1885–1900. Т. 1–10.
- Николаев 1995 / *Николаев С.И.* Трудный Кантемир. (Стилистическая структура и критика текста) // XVIII век. СПб., 1995. Сб. 19.
- Николаев 1996 / *Николаев С.И.* Литературная культура петровской эпохи. СПб., 1996.
- ОДДС / Описание документов и дел, хранящихся в архиве святейшаго правительствующаго синода. СПб., 1885. Т. VII.
- Описание коронации / Описаніе коронації еѣ велічества імператриці Екатерины Алексіевны... СПб., 1724.

Пекарский / *Пекарский П.* История императорской Академии наук в Петербурге. СПб., 1870–1873. Т. 1–2.

ПнВ / Примечания на Ведомости. СПб., 1728–1742.

Протоколы / Протоколы, журналы и указы Верховного тайного совета // Сборник Русского исторического общества. СПб., 1889. Т. 69.

Пумпянский / *Пумпянский Л.В.* Кантемир // История русской литературы: В 10 т. М.; Л., 1941. Т. 3.

Пьесы школьных театров / Пьесы школьных театров Москвы / Изд. подгот. О.А. Державина, А.С. Демин и др. М., 1974.

Расположении учении / [*Бильфингер Г.Б.*]

Расположении учении е. и. в. Петра Второго... СПб., [1731].

Рогов / *Рогов К.Ю.* Три эпохи русского барокко // Тыняновский сборник. М., 2006. Вып. 12.

Симеон / *Симеон Полоцкий.* Избранные сочинения. Л., 1953.

Стефан / Слова Стефана Яворского, митрополита Рязанского и Муромского // Труды Киевской духовной академии. Киев, 1874–1875.

Тредиаковский 1732 / *Тредиаковский В.К.* Панегүрік или слово похвальное<...> Анне Иоанновне... СПб., MDCCXXXII.

Тредиаковский 1734 / *Тредиаковский В.К.* Ода торжественная о здачѣ города Гданска... СПб., 1734.

Тюхменева / *Тюхменева Е.А.* Искусство триумфальных врат в России первой половины XVIII века. М., 2005.

Успенский, Шишкин / *Успенский Б.А., Шишкин А.Б.* Тредиаковский и янсенисты // Символ. 1990. Июнь. № 23.

Феофан 1727 / [*Феофан Прокопович*] *Ad augustissimum totius russiae imperatorem Petrum II.* SPb., 1727.

Феофан 1760 / *Феофан Прокопович.* Слова и речи... СПб., 1760–1764. Ч. I–IV.

Феофан 1789 / *Феофан Прокопович.* Пришествие в Новгород его императорского величества государя императора Петра Второго 1728, генваря 11 дня // Древняя российская вивлиофика / 2-е изд. М., 1789. Ч. IX.

Феофан 1961 / *Феофан Прокопович.* Сочинения. М.; Л., 1961.

Чистович / *Чистович И.А.* Феофан Прокопович и его время. СПб., 1868.

Штелин / Записки Якоба Штелина об изящных искусствах в России. М., 1990. Т. 1–2.

Мария Неклюдова

«Шуты и карлики»: Вольтер встречает Ла Бомеля

27 сентября 1753 года И. Веселовский писал М.Л. Воронцову, возвращая вольтеровское «Дополнение к „Веку Людовика XIV“»:

Бомелю на его долю, за его критику дополно досталось изо всего можно видеть что впоследствии от короля прусского над Вольтером безобразная немилость, не по причине споров Мопертью с Кенигом, но надобно быть иных каких, еще закрытых непотребных сплетней в которых знатно помянутой Бомель стоварищи, немалое имел участие, кои уже и начинаются что далее, то более наружу выходить [Письма к Вольтеру: 220–221].

Речь шла о недавних событиях. В апреле 1752 года Берлинская академия во главе с Мопертью осудила мнение философа Кенига, согласно которому один из выдвинутых Мопертью принципов на самом деле принадлежал Лейбницу. Вольтер в «Диатрибе доктора Акакия» (ноябрь 1752 года) вступился за Кенига, когда-то бывшего учителем госпожи дю Шатле. Фридрих повелел публично сжечь памфлет, а пепел послать Мопертью (Пушкин с детальной точностью пересказал эту историю в статье «Вольтер», 1836). «Безобразная немилость» Вольтера получила огласку в марте 1753 года, когда тот покинул Берлин, а «Дополнение к „Веку Людовика XIV“» вышло в конце апреля. Однако выводы Веселовского основывались не столько на содержании памфлета, сколько на предпосланном ему письме пастору Року, издателю франкфуртского «Журнала», в котором Вольтер излагал историю своих разногласий с Ла Бомелем. Из письма следовало, что поэт стал жертвой интриг, вдохновителем которых был Мопертью, а исполнителем – Ла Бомель. При этом Вольтер намекал на политическую подоплеку конфликта, поскольку речь шла о Людовике XIV, а интриги плелись в непосредственной близости от прусского двора [Voltaire 1957:1223–1229].

Как можно судить по впечатлениям Веселовского, вольтеровский маневр увенчался успехом. Сосредоточив внимание публики на обстоятельствах спора, он обеспечил памфлету общеевропейский резонанс, вряд ли доступный собственно историографическим диспутам. Кроме того, представив Ла Бомеля в качестве источника «непотребных сплетней», он разом парировал все его критические выпады, независимо от их направленности. Личная дискредитация не только обесценивала слова противника, но заставляла читателей искать в них тайные следы пресловутых «сплетней», не придавая значения их непосредственному смыслу. В итоге предмет спора – история Людовика XIV – казался случайным предлогом для сведения счетов.

Такой способ ведения литературной полемики не был редкостью для XVIII столетия: дискредитация нравственного облика сочинителя ставила под сомнение его право выступать в качестве автора [Лотман: 369–370]. Случай с Ла Бомелем примечателен тем, что Вольтер разыграл карту до конца, лишив оппонента и символического, и юридического права на авторство. Он привлек к нему внимание французских властей. В результате тот дважды (в 1753 и в 1756 годах) побывал в Бастилии, по выходе из которой ему было запрещено заниматься издательской деятельностью и публиковать свои сочинения.

Справедливости ради надо сказать, что не Вольтер был зачинщиком ссоры – он лишь защищался. Его крайнее ожесточение против Ла Бомеля не слишком удивляло современников, видевших в последнем причину «безобразной немилости» Вольтера. Однако для исследователей оно не лишено загадочности, поскольку к вольтеровскому разрыву с Фридрихом Ла Бомель был причастен косвенным образом¹. Его роль в этой истории была преувеличена самим Вольтером (возможно, не без мысли оправдать жестокость расправы). Доказуемая же

вина Ла Бомеля заключалась в критике «Века Людовика XIV» и в поддержке Мопертюи. Но, по-видимому, причиной вражды стало не это, а принципиальное расхождение, имевшее место еще до начала открытого конфликта.

Первая документированная встреча будущих недругов состоялась в Потсдаме в ноябре 1751 года. Вольтер уже полтора года жил при дворе прусского короля. «Век Людовика XIV» был наконец завершен и печатался в берлинской типографии Хеннинга (вышел в свет в декабре 1751 года). Что касается Лорана Англивьея де Ла Бомеля (1726–1773), то он к тому времени успел побывать профессором французского языка и литературы в университете Копенгагена, издателем журнала «Датская зрительница, или Современная Аспазия», выпустить философский роман «Толерантный азиат», а также выступить с апологией «О духе законов» Монтескье. Осенью 1750 года, будучи проездом в Париже, он свел знакомство с Луи Расином (сыном драматурга) и убедил того уступить ему собрание важных исторических документов – список с подлинных писем госпожи де Ментенон [Lavallée: IV–XII]. Ла Бомель предполагал незамедлительно их опубликовать, однако, по зрелом размышлении, решил добавить к ним биографию морганатической супруги Людовика XIV. Меж тем к концу 1751 года он напечатал в Копенгагене сборник собственных морально-политических размышлений под двойным титулом «Что об этом скажут?» или «Мои мысли» [La Beaumelle]². Книга вышла без имени автора и произвела небольшую литературную сенсацию. Д'Аржансон писал в дневнике:

В свет вышла книга, которую сразу запретили и которой теперь не найти. Она называется «Что об этом скажут?». Сочинение весьма республиканское <...>. Книга запрещена правительством с полным основанием с его стороны. Более половины ее превосходна, четверть посредственна, другая четверть наполнена ложными идеями (запись от 27 февраля 1752 года: [D'Argenson: IV, 70]).

Судя по всему, Ла Бомель надеялся использовать успех «Моих мыслей» для дальнейшего карьерного продвижения. Complimentарные отзывы о России наводят на мысль, что он не исключал возможности путешествия из Копенгагена в Санкт-Петербург³. Но притяжение Пруссии, конечно, было сильнее и благодаря репутации ее короля-философа, и в силу приверженности Ла Бомеля протестантским державам.

Приезд Ла Бомеля в Берлин совпал с внезапной кончиной (и ноября 1751 года) Ла Меттри, занимавшего должность королевского чтеца. Ла Бомель написал Вольтеру, что хотел бы его посетить (как он выразился, «в Пруссию меня привело желание увидеть трех великих людей, и хотя вы второй из них, однако я почитаю вас первым» [La Beaumelle 1754: 121]⁴). Предлогом для встречи послужил задуманный Ла Бомелем проект издания французских классиков для наследника датского престола. Неудивительно, что предмет обсуждения и сама дата беседы (14 ноября), с точки зрения Вольтера, говорили об одном: молодой литератор метит на место Ла Меттри и, по-видимому, надеется на покровительство Вольтера.

Действительно, если Ла Бомель имел в виду пробиться к Фридриху (первому из троих великих, ради кого он приехал в Пруссию), то для него было вполне естественно заручиться поддержкой собрата по литературному цеху. Вопреки советам доброжелателей, он не спешил отдать визит Мопертюи, поскольку «его род занятий не был моим» [La Beaumelle 1754:120]. Автора «Века Людовика XIV» он, помимо прочего, мог заинтересовать находившимися в его распоряжении документами, связанными с госпожой де Ментенон.

Однако при личной встрече Ла Бомель сделал все, чтобы настроить Вольтера против себя. Он похвастался письмами госпожи де Ментенон, но отказался их показать, сославшись на не слишком скрупулезное обращение поэта с чужими рукописями [La Beaumelle 1754:122–123]. Кроме того, он не поднес свои сочинения, хотя это был ожидаемый от молодого литератора жест⁵. Видимо, это более всего насторожило Вольтера, и пару недель спустя он попросил

Ла Бомеля «одолжить» экземпляр «Моих мыслей», «книги, о которой ему говорили много хорошего» [La Beaumelle 1754:125]. В ней он обнаружил следующее размышление:

Пробегаю древнюю и новую историю, нигде не найти примера, чтобы государь даровал семь тысяч экю пенсiona литератору в качестве литератора. Бывали более великие поэты, нежели Вольтер, но еще не бывало столь хорошо вознагражденных, ибо вознаграждение собственного вкуса не знает пределов. Король Пруссии осыпает милостями таланты ровно по тем же причинам, по которым немецкий государь осыпает ими шута или карлика (*Le Roi de Prusse comble de bienfaits les hommes àtalens, précisément par les mêmes raisons, qui engagent un Prince d'Allemagne à combler de bienfaits un bouffon ou un nain*) [La Beaumelle 1751: 69–70].

Этот двусмысленный комплимент хорошему вкусу Фридриха характеризовал положение всех «талантов» при его дворе. Однако, как показало дальнейшее развитие событий, оскорбленным счел себя один Вольтер. Его попытки восстановить против Ла Бомеля других потенциальных «шутов и карликов» – маркиза д'Аржанса, барона Польница, графа Альгаротти – успеха не имели. Напротив, когда Вольтер попытался убедить Фридриха, что автор «Моих мыслей» назвал его «немецким князьком», за Ла Бомеля заступился Альгаротти, который собственноручно выписал крамольный пассаж и предъявил его королю. Все присутствовавшие при этой сцене с редким единодушием «не нашли в нем ничего оскорбительного» и предположили, что Вольтер обиделся на фразу «Бывали более великие поэты, нежели Вольтер...» [La Beaumelle 1754:131–132].

Весьма вероятно, что слова насчет «шутов и карликов» действительно метили в Вольтера. Во-первых, из всех «талантов» прусского двора лишь он был назван по имени. Во-вторых, у этой характеристики, по-видимому, была подоплека. В дневнике маркиза д'Аржансона зафиксирована реплика Людовика XV по поводу вольтеровского отъезда в Пруссию: «Его Величество сказало своим придворным, что при прусском дворе станет одним сумасшедшим больше, и одним сумасшедшим меньше при его дворе» [D'Argenson: III, 349]. Французский король назвал Вольтера «un fou», что означало не только «сумасшедший», но и «шут», последняя коннотация была усилена контекстом (при дворе обычно держат шуты).

Запись д'Аржансона сделана 24 августа 1750 года. Маркиз в это время редко бывал при дворе, новости до него доходили через вторые руки и с запозданием (Вольтер покинул Париж в конце июня). Это значит, что осенью слова короля еще могли гулять по парижским салонам. Как уже говорилось, приблизительно тогда же столицу посетил Ла Бомель. Там, вероятно, он и подхватил *bon mot*.

Надо полагать, доброжелатели донесли слова Людовика до Вольтера. В любом случае ему было прекрасно известно мнение французского монарха, признававшего за ним лишь роль придворного сочинителя. Еще в 1745 году, готовя очередной версальский праздник, он писал Сидвелю: «Пожалейте беднягу, который в пятьдесят лет сделался королевским шутком (*bouffon du roi*)...» [Voltaire 1977: II, 938]. Отъезд в Пруссию во многом был продиктован надеждой, что у Фридриха его ожидает качественно иное положение. Однако ожидания оправдались не в полной мере: при всей близости к королю обязанности Вольтера ограничивались развлечением монарха.

Эти обстоятельства отчасти объясняют, почему Вольтер столь яростно отреагировал на замечание Ла Бомеля о пенсione, назначенном «литератору в качестве литератора»: «Он мне сказал, что получаемое им от короля было не вознаграждением [*récompense*], а простым возмещением [*dédommagement*]...» [La Beaumelle 1754:128]⁶. При этом Вольтер не скрывал, что получал пенсion в качестве камергера прусского двора. Ла Бомель видел в этом еще одно свидетельство вольтеровского двуличия [La Beaumelle 1754:164], однако в данном случае он был

не прав. Вольтер менее всего хотел выглядеть «талантом» на жалованье у Фридриха. Поэтому он стремился стать французским агентом при прусском дворе, поэтому цеплялся за придворные должности (и даже, покидая Берлин, попытался увести с собой камергерский ключ, чем вызвал недовольство Фридриха). Неуверенность в собственном статусе при «северном Соломоне» заставляла искать пути дополнительной легитимации своего положения⁷.

Весьма правдоподобно, что рассуждение Ла Бомеля о вознаграждении талантов показалось Вольтеру точным описанием отношения к нему Фридриха. Отсюда его подозрения, что Ла Бомель был в большей степени причастен к интригам прусского двора, чем казалось на первый взгляд. Подозрения несправедливые, как красноречиво свидетельствуют факты. За время недолгого пребывания в Берлине Ла Бомель успел посидеть под арестом в крепости Шпандау⁸, а в мае 1752 года был вынужден покинуть владения прусской короны.

Это, впрочем, не исключает, что размышление о «талантах» понравилось Фридриху, иначе оно вряд ли получило бы единодушное одобрение придворных. Ла Бомелю была предложена возможность и дальше дразнить Вольтера, в том числе выпустить контрафактное издание «Века Людовика XIV» со своими критическими замечаниями. Но хотя схожей тактики придерживался сам король, с тайного одобрения которого, к примеру, был осуществлен пиратский перевод «Века Людовика XIV» на немецкий язык⁹, это отнюдь не гарантировало Ла Бомелю личного покровительства Фридриха¹⁰.

Как бы то ни было, отзыв Ла Бомеля о Вольтере не объяснялся желанием понравиться Фридриху: до приезда в Берлин и знакомства с Мопертюи (последним из троих великих, ради которых он посетил Пруссию) он вряд ли был осведомлен о сложностях отношений короля и его камергера. Его оценка носила принципиальный характер. Ла Бомель был поклонником идей Монтескье, чье влияние заметно во многих рассуждениях из «Моих мыслей». В Вольтере же он, по собственному признанию, восхищался «автором «Альзиры» [La Beaumelle 1754:121], то есть поэтом, не признавая за ним качеств мыслителя или общественного деятеля. Существенная часть его критики «Века Людовика XIV» сводилась к упреку – Вольтер, замыслив философскую историю человеческого духа, разменивался на остроты и парадоксы:

Намеренье г-на де Вольтера – представить не историю, но картину века Людовика XIV; как он сам утверждает в начале, он хочет попытаться обрисовать для потомков не дела одного человека, но дух людей просвещеннейшего из всех веков.

Это прекрасный, великий замысел, без сомнения достойный потомков и Монтескье, однако он намного превышает возможности г-на де Вольтера <...>.

Необходимо было составить план, и он его составил. Но Бог мой, что за план! Он поделил свой труд на две части <...>.

Этому разделению он последовал, рассказав в первом томе о военных кампаниях Людовика XIV, и поместив во второй ряд анекдотов <...>, все это изложив блестящим, небрежным эпиграммическим стилем, порой забавным; в первом томе – быстро, во втором – вяло и многословно [Louis XIV: XX–XXI]¹¹.

Иными словами, с точки зрения Ла Бомеля, Вольтер страдал излишней склонностью к риторике, слишком заботился о красоте слога. Его главный недостаток состоял в том, что он прежде всего был сочинителем, а не мыслителем. Отсюда неискоренимая двойственность отношения к нему Ла Бомеля, который, намереваясь выказать восхищение, неизменно выказывал презрение.

Неожиданное совпадение взглядов молодого литератора-«республиканца» и двух королевских особ, по-видимому, было неслучайным. Ла Бомель столкнулся с Вольтером в тот

момент, когда перед автором «Века Людовика XIV» встала необходимость отказаться от привычных способов легитимации положения литератора – королевского покровительства и придворных должностей. Этот отказ был вынужденным, болезненным и, с точки зрения новой генерации писателей, к которой принадлежал Ла Бомель, недостаточно радикальным. В их глазах жизненные тактики Вольтера слишком расходились с его литературной позицией: последняя опережала первую. Для этой генерации, в отличие от следующей, которой предстояло иметь дело с «фернейским патриархом», Вольтер был не похож на «Вольтера».

Пушкин, как известно, писал, что Фридрих «не надел бы на первого французского поэта шутовского кафтана, не предал бы его на посмеяние света, если бы сам Вольтер не напрашивался на такое жалкое посрамление». Действительно, дело было не столько в Фридрихе, сколько в Вольтере, который не мог избавиться от сомнений по поводу своего статуса¹². Поэтому ему невыносимо было слышать слова о «шутах и карликах» от молодого и самонадеянного собрата по цеху, который, как он не мог не признать, «к несчастью, [был] не лишен ума» [Voltaire 1975: III, 841]. По-видимому, это и предрешило показательную расправу над Ла Бомелем.

Примечания

¹ Сам Вольтер в доверительном письме племяннице от 30 августа 1753 называл все эти споры предлогом, чтобы выбраться из Пруссии. Иными словами, конфликт с Ла Бомелем и даже с Мопертюи не был напрямую связан с Фридрихом [Voltaire 1975: III, 1029].

² Как указывал Ла Бомель, двойное наименование было следствием типографской ошибки: книга называлась «Что об этом скажут?», с эпиграфом «Мои мысли». Однако именно последний закрепился в качестве титула [La Beaumelle 1751: 397–398].

³ «Что меня восхищает в Петре Великом, это отнюдь не его успехи; я восхищаюсь его решимостью, его путешествиями» [La Beaumelle 1751:37–38]. Поскольку высказывания о России в основном сосредоточены в начале книги, а комплименты Фридриху – ближе к концу, по всей видимости, Ла Бомель сперва думал о Петербурге, а потом решил попытать счастья в Берлине.

⁴ Подробное изложение событий с точки зрения Ла Бомеля см. в его «Письме о моих раздорах с г-ном де Вольтером» [La Beaumelle 1754:119–151].

⁵ Ла Бомель писал, что за пребывание в Берлине подарил не более дюжины экземпляров, которые Вольтер назвал дюжиной ударов кинжалом [La Beaumelle 1754:158]. Однако дело не в том, сколько экземпляров было подарено, а кому они были (или не были) вручены. О первом можно судить по дарственной надписи на экземпляре «Моих мыслей», хранящемся в отделе Редкой книги ВГБИЛ им. М.И. Рудомино: «Господину д'Арниму, тайному советнику Его Величества короля Пруссии, от его нижайшего и покорнейшего слуги. Англивьель де Ла Бомель. Берлин, 9 февраля 1752».

⁶ Ср. с соображениями Пушкина по поводу «ободрения» талантов в письме А.А. Бестужеву от конца мая – начала июня 1825 года: то, что слово «ободрение» (видимо, французское «encouragement») стало приемлемой характеристикой взаимоотношений власти и талантов, позволяет оценить эволюцию понятийного словаря.

⁷ В зависимости от обстоятельств и аудитории, Вольтер по-разному представлял свои взаимоотношения с Фридрихом. В письмах из Потсдама он рисовал себя собеседником короля-философа; после отъезда из Пруссии подчеркивал свои наставнические функции (теперь Фридрих по-французски пишет лучше его и пр.). В некоторых случаях (к примеру, в предисловии к «Дополнению к „Веку Людовика XIV“») ему было важно выставить напоказ камергерское звание; в других он позировал как независимый литератор, живущий при дворе лишь из дружеских чувств к королю-философу.

⁸ Ла Бомель в театре свел знакомство с дамой, которая зазвала его к себе. Но любовная идиллия была прервана появлением мужа в сопровождении стражи. Судебное разбирательство показало, что Ла Бомель стал жертвой мошенников. История вряд ли имела отношение к Вольтеру, хотя полностью исключать этого нельзя.

⁹ Для Вольтера это была финансовая потеря, и он приложил немало усилий, чтобы помешать выходу издания. О перипетиях этой истории [Mervaud: 205].

¹⁰ Как еще в XIX веке предположил один из исследователей, исключительное упорство, с которым Вольтер преследовал Ла Бомеля, помимо прочего, свидетельствовало о том, что последний не имел могущественных покровителей [Nisard: 319–321].

¹¹ План Вольтера казался Ла Бомелю слишком близким к династической истории, слишком ориентированным на фигуру короля (как мы видели, д'Аржансон еще в начале 1752 года разглядел республиканские устремления автора). Поэтому он одобрял наличие в «Веке...» эле-

ментов «картины» (синхронического описания), которые позволяли преодолеть инерцию традиционного (диахронического) повествования, отождествлявшего историю страны с биографией властителя. Однако предложенное Вольтером двучастное деление (сперва публичные, «исторические» деяния короля, затем его частная жизнь) уничтожало те преимущества, которые предполагал жанр картины.

¹² См., в частности, цитируемое Пушкиным письмо, где Вольтер сравнивает себя с мужем-рогоносцем, или то, где он изображает себя старой проституткой, влюбившейся в Алкивиада [Voltaire 1975: III, 1062].

Литература

- Лотман / *Лотман Ю.М.* Литературная биография в историко-культурном контексте // Лотман Ю.М. Избранные статьи: В 3 т. Таллинн, 1992. Т. I.
- Письма к Вольтеру / Письма к Вольтеру / Публ. В.С. Люблинского. Л., 1970.
- D'Argenson / *Mémoires et Journal inédit du marquis D'Argenson*. Paris, 1858.
- La Beaumelle 1751 / [*La Beaumelle L.A. de.*] *Mes pensées: Qu'en dira-t'on?* Copenhagen, 1751.
- La Beaumelle 1754 / [*La Beaumelle L.A. de.*] *Réponse au Supplément du Siècle de Louis XIV*. Colmar, 1754.
- Lavallée / *Lavallée Th.* Étude sur les lettres de Mme de Maintenon publiées par La Beaumelle // *Correspondance générale de madame de Maintenon*. Paris, 1865. Т. I.
- Louis XIV / *Le siècle de Louis XIV* par Mr. de Voltaire. Nouvelle édition, Augmentée d'un très grand nombre de Remarques, par Mr. de La B***. Francfort, 1753. Т. I.
- Mervaud / *Mervaud Ch.* Voltaire et Frédéric II: une dramaturgie des Lumières. Oxford, 1985 (= *Studies on Voltaire & the Eighteenth century*. № 234)
- Nisard / *Nisard Ch.* Les ennemis de Voltaire. Paris, 1853.
- Voltaire 1957 / *Voltaire*. Œuvres historiques. Paris, 1957.
- Voltaire 1975 / *Voltaire*. Correspondance: 1749-1753– Paris, 1975. Т. III.
- Voltaire 1977 / *Voltaire*. Correspondance: 1739–1748. Paris, 1977. Т. II.

Рональд Вроон «Екатерина плачет явно...» К предыстории переворота 1762 года

*ЗРЯ ПИРШЕСТВО СЯЕ БЕЗСЛАВНО,
ЕКАТЕРИНА ПЛАЧЕТ ЯВНО,
И ВИДИТ ТО ВЕСЬ ДВОР И ГРАД...
Александр Сумароков*

Решающая роль в истории краткого царствования Петра III принадлежит, пожалуй, событию несостоявшемуся – его коронации. Петр с враждебностью относился к православной церкви и ее обрядам, стремился как можно быстрее взять в свои руки государственное управление и пренебрег обрядом венчания на царство, который со времен Ивана Грозного составлял основу «сценария власти» русских монархов и обеспечивал религиозную легитимацию их политического господства. Необходимость в такой легитимации Петр испытывал не меньше своих предшественников: происходя по прямой линии от Петра Великого и став наследником в царствование Елизаветы, он тем не менее смотрелся чужаком, родственно связанным и политически симпатизирующим Пруссии, с которой Россия уже пять лет вела войну. Однако Петр не проявил интереса к ритуалам новой родины и, пренебрегая советами своего дяди и наставника Фридриха II¹, отложил коронацию, а вместо того решил начать войну с Данией за наследственные земли в Шлезвиге.

Мы намеренно говорим о «сценариях власти». Неудача петровского царствования как будто подтверждает – от противного – центральный тезис Р. Вортмана о том, что «русские правители и их советники считали символику и образность церемоний насущно необходимыми для осуществления власти», а «императорский двор представлял собой непрекращающееся театральное действие, театр власти», имевший своей целью «представить правителя как верховное начало и наделить его сакральными качествами»². Отказ от участия в этом «действе» влек серьезный риск. Было ли столь же опасным отступление от правил, определявших ход придворных церемоний и поведение двора? Могло ли «неправильное» поведение подорвать авторитет монарха и стать причиной его падения?

Историки, обращавшиеся к царствованию Петра III, обыкновенно рассуждали именно так и подробно описывали вызывающее поведение императора. Эта традиция началась с первых русских и иностранных (Ранфт, Рюльер, Кастера и др.) сочинений о Петре и Екатерине, появившихся в XVIII веке, и была поддержана позднейшей академической историографией. В авторитетных трудах³ уделяется значительное внимание тем подробностям царствования Петра III, что, на первый взгляд, не должны иметь первостепенного значения для политической истории: говорится о курении царя, пристрастии к выпивке и шумному застолью, открытых любовных связях, неприятной мимике, громком голосе, вспыльчивости, грубости с представителями дипломатического корпуса, бестактной пруссофилии, неуважении к православной обрядности, равнодушии к сыну, пренебрежении супругой и т. п. Историки согласны, что поведение такого рода вызывало недовольство, если не возмущение при дворе и фактически стоило царю поддержки его окружения. Конечно, не в этом усматривали основную причину падения Петра (решающую роль сыграла, несомненно, секуляризация церковных земель, отказ от завоеванных территорий и планы войны с Данией), но бесспорным казался сформулированный Дашковой тезис о том, что «не только тирания является причиной ниспровержения властелина, но этому может способствовать и презрение к суверену и его правительству»⁴.

Устоявшаяся точка зрения оспаривается в двух работах последнего времени; их авторы не считают публичное поведение Петра сколько-нибудь существенной причиной его свержения. Автор новейшей биографии А.С. Мыльников, признавая многочисленные случаи непристойного поведения Петра, тем не менее объясняет падение царя его уступчивостью при малейшей опасности. В подданном она могла бы выглядеть достоинством, но с самодержцем сыграла дурную шутку и «в значительной степени <...> предопределила успех переворота»⁵. Еще резче традиционный взгляд критикуется в книге Кэрол Леонард. Во-первых, исследовательница ставит под сомнение сохранившиеся в русских источниках анекдоты о Петре и объявляет их продуктом позднейшей фальсификации, учиненной после переворота приближенными Екатерины (Г.Г. Орлов, Г.А. Потемкин, Н.И. Панин и Е.Р. Дашкова). Более достоверными Леонард считает сообщения наставника Петра, Якоба Штелина, и расположенных к царю дипломатов вроде сэра Роберта Кейта или Грегора фон Гакстгаузена⁶. Во-вторых, исследовательница не видит связи между личным поведением императора и переворотом и критикует соответствующую гипотезу: «Соловьев, один из творцов дурной славы Петра, изобразил его совершенно нелепым. При этом историк исходил из того, что существовали определенные нормы поведения самодержца, отклонения от которых в сочетании с деспотическим произволом могли навлечь на него недовольство собственного двора». *«Вопрос о том, может ли избранная монархом манера обхождения угрожать его власти, не стоит обсуждения; вопрос о том, послужило ли нелепое поведение Петра причиной его непопулярности, до сих пор неразрешим»*⁷.

Мыльников и Леонард, безусловно, правы в том, что историки слишком сильно полагались на записки Екатерины и ее сторонников, а беспристрастный обзор прижизненных свидетельств мог бы скорректировать устоявшуюся картину. Можно согласиться и с тем, что анекдоты о непристойном поведении царя не должны мешать взвешенной оценке его политических свершений. Это не значит, однако, что мы должны счесть сообщения Екатерины и ее приближенных фальсификацией; для такого вывода недостает оснований. Современники, незнакомые с сочинениями друг друга, записывали сходные подробности, а позднейшие записки русских свидетелей во многом совпадают с составленными по горячим следам отчетами иностранцев⁸. Даже благожелательный Штелин отмечает в Петре «вспыльчивость, гневливость, поспешность, отсутствие политической гибкости»⁹; другие свидетели, расходясь в деталях, соглашались в том, что царь был «враг всякой представительности и утонченности». По словам Мыльникова, он «не любил, например, следовать строгим правилам придворного церемониала и нередко сознательно нарушал и открыто высмеивал их. Делал он это далеко не всегда к месту. И излюбленные им забавы, часто озорные, но в сущности невинные, шокировали многих при дворе»¹⁰. В задачи нашей работы не входит подробное рассмотрение этого вопроса, однако стоит процитировать ранний отзыв о Петре, принадлежащий представителю прусского короля при русском дворе Финкенштейну (1749, будущему императору шел двадцать второй год). Хотя от прусского дипломата можно было ожидать расположения к наследнику, нарисованная им картина в значительной мере предвосхищает позднейшие недоброжелательные воспоминания Екатерины:

На Великого Князя большой надежды нет. Лицо его мало к нему располагает и не обещает ни долгой жизни, ни наследников, в коих, однако, будет у него великая нужда. Не блещет он ни умом, ни характером; ребячится без меры, говорит без умолку, и *разговор его детский, великого Государя недостойный, а зачастую и весьма неосторожный*; привержен он решительно делу военному, но знает из оного одни лишь мелочи; охотно разглагольствует против обычаев российских, а порой и насчет обрядов Церкви Греческой отпускает шутки; беспрестанно поминает свое герцогство Голштинское, к коему явное питает предпочтение; есть в нем живость, но не дерзну назвать

ее живостью ума; резок, нетерпелив, к дурачествам склонен, но *ни учтивости, ни обходительности, важной персоне столь потребных, не имеет*. Сколько известно мне, единственная разумная забава, коей он предается, – музыка; каждый день по несколько часов играет с куклами и марионетками; те, кто к нему приставлен, надеются, что с возрастом проникнется он идеями более основательными, однако кажется мне, что слишком долго надеждами себя обольщают <... > нация его не любит, да при таком поведении любви и ожидать странно¹¹.

Как видно, с первых лет своего пребывания в России Петр отказывался следовать представлениям местной элиты о подобающем поведении; благодаря этому он задолго до прихода к власти утерял всякий авторитет.

Однако вернемся к формулировкам К. Леонард: действительно ли «не стоит обсуждения» идея о том, что вызывающее поведение самодержца угрожает его власти? А.Б. Каменский, автор монографического исследования о царствованиях Петра III и Екатерины II, не столь категоричен. По его мнению,

наличие социальной опоры – непереносимое условие стабильности любой власти, но это еще не все. Человек, стоящий за государственным пультом, не должен нарушать и определенных правил поведения. Рамки этих правил, их широта могут быть различны, в зависимости от разработанности законодательной основы власти, но даже если, как это было в абсолютистской России, эти законы отсутствуют вовсе, действуют неписанные правила и нормы поведения, сложившиеся в общественном сознании¹².

Как именно нарушение этих правил и норм сказалось на судьбе Петра III, можно понять, если обратить внимание на события, тремя неделями предшествовавшие перевороту.

Взойдя на престол 25 декабря 1761 года, Петр немедленно заключил одностороннее перемирие с Пруссией, тем самым выведя Россию из Семилетней войны. Согласно мирному договору, заключенному 24 апреля 1762 года, Россия возвращала Пруссии все территории, занятые в ходе боевых действий. По инициативе императора за договором последовал союзный трактат (подписан 8 июня); он освобождал Петру руки для войны с Данией. Резкая смена внешнеполитической линии неприятно поразила не только европейские дворы, но и подданных Петра: заключение мира было вполне законной политической операцией, но уступка захваченных земель почти уничтоженному противнику без серьезного возмещения могла вызывать только недоумение. Даже английский посланник в Петербурге Роберт Кейт, по долгу службы поддерживавший пропрусскую политику Петра, увидел в ней отступление от интересов России и отметил недовольство русских придворных кругов. Одной из причин «поразительного переворота», низвергнувшего Петра, Кейт в своих воспоминаниях называет намерение императора «взять с собой в Германию большую часть (гвардейских полков. – Р.В.) для войны с Данией. Противу сей войны была и вся нация, поелику вовлеклась она от сего в новые расходы и новые опасности ради завоевания герцогства Шлезвигского, каковое почитали здесь совершенно ничтожным и ненужным для России, тем паче что император уже пожертвовал ради своей приязни к королю Прусскому завоеваниями российской армии, весьма для империи существенными»¹³.

В ознаменование мира и нового союза с Пруссией Петр затеял трехдневные торжества, начавшиеся 9 июня. Они должны были проходить с чрезвычайной пышностью и требовали сложных приготовлений. Уже 29 апреля, как сообщал австрийский посланник Мерси д'Аржанто Кауницу, царь собрал дипломатический корпус и объявил о мирном договоре. Засим последовал торжественный прием, куда из-за отсутствия Екатерины, сказавшейся больной,

были приглашены одни мужчины¹⁴. Прием служил прологом банкета 9 июня, к которому мы еще обратимся. По сообщению д'Аржанто, было поднято четыре тоста: в честь восстановления дружеских сношений с Пруссией, за здоровье короля Фридриха, за предстоящий союз с Пруссией и за здоровье всех прусских офицеров. Пили между обедом и ужином, а потом до ночи; д'Аржанто нашел поведение гостей столь неподобающим (они перепились, сквернословили и не стеснялись оскорбительных выражений в адрес враждебных держав), что на следующее утро пожаловался канцлеру Воронцову. Воронцов «безмолвными знаками выражал мне свое смущение и стыд, под конец, однако, сказал, что этот пир был только извещением о заключении мира, самый же мир Император намерен отпраздновать с гораздо большей торжественностью и большим великолепием по обмену ратификации»¹⁵. Через несколько дней, 7 мая, д'Аржанто вновь сообщал:

Государь, желая еще сильнее показать, как приятно ему восстановление дружбы с этим Государем, решил, по совершении обмена ратификаций, что последует через 4 недели, дать великолепный пир, далеко превосходящий по блеску тот, который был дан по случае объявления о мире; на нем будет присутствовать все здешнее дворянство и 500 лиц будет обедать во дворце¹⁶.

Итак, устройство июньских торжеств обдумывалось уже в конце апреля. Приготовления должны были идти тем более напряженно, что проводить празднества предполагалось в недостроенном Зимнем дворце; по сообщению д'Аржанто, потребовалось нанять дополнительно 300 работников, чтобы привести парадные покои в подобающий вид.

Самое раннее и наиболее полное описание июньских торжеств было через 10 дней по их завершении, 21 июня:

Сего месяца 9 числа, то есть в день торжествования заключенного вечного мира между Российской Империей и Пруссим Королевством, съехались в Зимней каменной дворец все знаменитыя обоого пола персоны, також и знатное дворянство, и проходили на парадное крыльцо чрез галлерею в большую придворную церковь¹⁷.

Суммируем газетный отчет.

Воскресенье, 9 июня

1. Гости собрались в придворной церкви Зимнего дворца. Император лично привел ко дворцу Преображенский полк, за ним следовали другие полки во главе со своими командирами.

2. Императорская чета с высшими сановниками присоединились к гостям в церкви во время литургии и молебна в честь заключения мира; затем последовал салют.

3. Сановники и духовенство поздравили императорскую чету, собравшиеся полки трижды салютовали ружейным огнем.

4. Состоялся обед для августейшей семьи, дворянства первых классов и чужестранных послов. 90 гостей сидели за одним столом с императорской четой, а другие 440 – в соседних комнатах дворца. Обед сопровождался вокальной и инструментальной музыкой. Тосты «за высочайшие здравия» сопровождались пушечным салютом и фанфарами.

5. После обеда императорская чета удалилась в покои Петра, где получили награждения несколько приближенных: графине Елизавете Воронцовой был пожалован орден Св. Екатерины, генерал-поручику Л.А. Нарышкину орден Андрея Первозванного и проч.

Понедельник, 10 июня

1. В 6 часов пополудни избранные гости были приглашены «забавляться в карты» с императорской четой. Затем последовал ужин. 90 человек расположилось за одним столом с августейшими супругами, а еще 140 – за двумя другими столами. Как и в предыдущий день, обед сопровождался итальянской музыкой, а тосты – фанфарами и салютом.

2. После обеда имел место на Неве великолепный фейерверк в трех частях, подобно театральной пьесе; аллегорические фигуры изображали заключение мира и установление вечного союза с Пруссией.

В газете ничего не говорится о событиях третьего дня торжеств, однако из депеши д'Аржанто известно, что они продолжались и в июне: «Сегодня это торжество закончится еще ужином, а завтра Его Величество намерен отправиться в свой загородный дворец в Ораниенбаум и вернется только на следующей неделе. Во время этих трехдневных празднеств все здешние жители, в силу полученного заказа, иллюминировали свои дома, и дворянство являлось ко двору в наибольшем наряде»¹⁸.

Судя по этим и некоторым другим свидетельствам (в том числе воспоминаниям Болотова¹⁹), можно заключить, что празднование союза с Пруссией было самым значительным церемониальным событием краткого царствования Петра III. Сам Петр писал Фридриху Прусскому, настойчиво советовавшему ему короноваться:

... так как война эта почти уже началась, то я не вижу вовсе средства короноваться прежде, именно относительно самого народа, так как я не могу совершить коронование с великолепием, к которому привык народ. Я не могу короноваться – потому что ничего не готово и ничего за скоростью нельзя здесь найти <...>²⁰.

Петр лукавил: вместо торжеств по поводу заключения мира он мог готовить коронацию²¹. Отказ от нее был не единственным отступлением от норм. Уже говорилось, что повод для празднования вызывал противоречивые чувства у государственной элиты: она вынуждена была не только смириться с внешней политикой нового императора, но и публично радоваться решениям, расходящимся, по мнению многих, с их собственными и государственными интересами.

В официальном отчете об июньских торжествах умалчивалось о нескольких эпизодах, еще отчетливей обозначавших разрыв Петра с неписаными законами. В первую очередь необходимо упомянуть состоявшийся на обеде 9 июня разговор Петра с Екатериной, который Бильбасов именует «историческим», поскольку «обстоятельства, его сопровождающие, имели решительное влияние на судьбу Екатерины»²². Вот как его излагает Дашкова:

Заклучив мир с прусским королем, он (Петр III. – *P.B.*) выказывал просто неприличную радость и решил отпраздновать это событие большим торжественным обедом, на который были приглашены лица первых трех классов и иностранные посланники. Императрица заняла свое место в середине стола, но Петр III сел на противоположном конце рядом с прусским послом. Император предложил три тоста: за здоровье императорской семьи, за здоровье его величества прусского короля и за счастливое заключение мира. Когда под залпы крепостных пушек императрица подняла бокал и выпила первый тост, Петр III послал к ней стоявшего позади его стула генерала-адъютанта Гудовича спросить, почему она не встала, когда пили здоровье императорской семьи. Императрица ответила, что, поскольку императорская семья состоит из его величества, их сына и ее самой, она не думала, что император потребует от нее встать. Когда Гудович передал ответ, император приказал ему сказать Екатерине, что она *folle* и должна знать, что в императорскую семью входят также два голштинских принца, их дядя; однако, сомневаясь, точно ли Гудович передаст его слова, Петр III произнес их во всеуслышание. Императрица залилась слезами, но, не желая вызывать жалость и чтобы отвлечься, она попросила моего кузена, камергера графа Строганова, который как дежурный стоял позади ее стула, занять

ее беседой и своими милыми шутками, в чем он был большой искусник <...>. По окончании обеда Строганову приказали отправиться на свою дачу на Каменном острове и не выезжать оттуда до нового распоряжения. Происшествие этого дня произвело большое впечатление в городе. Сочувствие к императрице возрастало в той же мере, как презрение к ее супругу²³.

Рассказ Дашковой, хотя и был записан через несколько десятилетий после событий, видимо, вполне точен – мемуаристка, по всей вероятности, присутствовала за праздничным столом, а о причинах оскорбления могла узнать от самой Екатерины. Жан-Анри Кастера, составивший в 1797 году жизнеописание Екатерины на основании французских дипломатических донесений, также излагает этот эпизод, однако ему остались неизвестны подробности и истинные причины публичной размолвки высочайшей четы:

При праздновании мира, подписанного только что с королем Прусским, Петр <... > на ужине пил здоровье герцога Голштинского; при сем гости поднялись, за исключением Екатерины, которая, по ее словам, поранила ногу. Петр, разгневанный отказом императрицы выказать уважение его дяде, подыскал ей такое определение, которое императору не следовало бы применять к своей супруге, заслужила она его или нет. Екатерина была столь оскорблена, что не удержалась от слез, и некоторое время тихо говорила о своей обиде с камергером Строгановым, которого, к ее огорчению, тут же арестовали. Но ее слезы обратили на себя внимание, а грубость ее мужа вызвала негодование²⁴.

Об этом случае вспоминала и сама Екатерина. В той части ее «Записок», которую А.Н. Пыпин датирует 1760-ми годами, читаем:

В день празднования мира камергер Строганов получил приказ не выходить совсем из дому, потому что он выказал сожаление к императрице, которую император жестоко обидел публично. Эта мера произвела очень большое впечатление на все умы, к тому же настроенные в пользу этой государыни и очень раздраженные дурным поведением, лютым характером и ненавистью Петра Третьего к русскому народу, которую он даже не давал себе труд скрывать. Это брожение продолжалось, беспрестанно усиливаясь, до 27 июня²⁵.

Знаменательно, что во всех трех случаях утверждается, будто застольная ссора произвела впечатление в петербургском обществе – усилила всеобщую неприязнь к императору и сочувствие к его супруге. В другом месте записок Екатерина точнее называет аудиторию, затронутую скандалом. По ее словам, она некоторое время отвергала поступающие с разных сторон соблазнительные предложения, но затем стала действовать иначе:

Видя, однако, что дела идут все хуже, императрица дала знать различным партиям, что пришло время соединяться и подумать о средствах, *чему удивительно помогло оскорбление, которое ее супруг нанес ей публично*. Поэтому условились, что, как только он вернется с дачи, его арестуют в комнате и объявят его неспособным царствовать²⁶.

Иными словами, нанесенное Петром оскорбление послужило катализатором общественного недовольства. Император, однако, не остановился на этом и пожаловал орденом свою любовницу, Елизавету Воронцову.

По окончании стола Их Императорския величества изволили проходить в покои Его Величества, где Его Императорское Величество из особой

высочайшей Своей милости, на Ея Сиятельство госпожу Камерфрейлину, Графиню Елисавету Романовну Воронцову, изволил наложить орден святыя Екатерины...²⁷

Несколько менее бесстрастно рассказывает об этом Дашкова. По ее словам, Петр в тот вечер покинул Зимний дворец и отправился в Летний, где «веселился по своему обыкновению и напился так, что не мог сам идти; в 4 часа утра его вынесли из-за стола, усадили в карету и отвезли во дворец. Но еще до отъезда из Летнего дворца Петр III наградил мою сестру Елизавету орденом св. Екатерины»²⁸. Из этого рассказа следует как будто, что решение Петра было принято внезапно, под воздействием винных паров. На самом деле, как мы видели, в тот день ордена были пожалованы нескольким персонам; к тому же для церемонии награждения необходимо было заранее заказать орденские инсигнии. Итак, можно думать, что Петр готовился к этому жесту²⁹.

Пожалование орденов регулировалось довольно строгим уставом. Орден Св. Екатерины был учрежден в 1714 году Петром I в честь покровительницы его будущей жены и служил высшей наградой для женщин в империи. Екатерина I получила его по прибытии в Москву, вскоре после бракосочетания с Петром (в Эрмитаже хранится ее портрет с орденскими знаками кисти Георга Гроота, выполненный в 1740-х годах). Петр III пожаловал этот орден А.К. Воронцовой, супруге канцлера³⁰, а также двум принцессам голштинской фамилии³¹. Первые два награждения не вызывали серьезного смущения, но, по словам д'Аржанто, «до сих пор не бывало примера в России, чтобы какая-либо придворная дама удостоилась подобной милости»³². Супруге канцлера орден мог быть пожалован «во внимание к заслугам мужа»³³, но ее племянница Елизавета могла похвастаться только положением царской любовницы³⁴. В этом случае, как и раньше, Петр бесцеремонно нарушил приличия. Он дал понять, что видит в Елизавете Воронцовой свою Екатерину, а следовательно – намеревается избавиться от супруги и возвести любовницу на престол. Екатерине грозил в этом случае арест, высылка из страны, насильственный постриг или гибель.

Действительно, в дни торжеств, утром 10 июня, Петр приказал заключить Екатерину под стражу. Довольно подробный рассказ об этом эпизоде сохранился в составе помет Екатерины на книге аббата Денина «*Essai sur la vie et le règne de Frédéric II, roi de Prusse*» (1788). По словам Денина, Петр III «заставил императрицу, свою супругу, украсить графиню Воронцову Екатерининскою лентою. Императрица естественно была задета этим за живое». Екатерина замечает:

Никогда не заставлял он императрицу возлагать на графиню Воронцову Екатерининскую ленту, а потрудился возложить собственноручно. Он хотел на ней жениться и в тот самый вечер, как возложена была лента, приказал адъютанту своему князю Барятинскому (впоследствии министру во Франции) арестовать императрицу в ее покоях. Испуганный Барятинский медлил исполнением и не знал, как ему быть, когда в прихожей повстречался ему дядя императора принц Георгий Голштинский. Барятинский передал ему, в чем дело. Принц побежал к императору, бросился перед ним на колени и насилу уговорил отменить приказание³⁵.

Последствия событий 9-10 июня – публичного оскорбления и отмененного приказа об аресте – Екатерина описала в письме к своему бывшему любовнику Станиславу Понятовскому 2 августа, вскоре после переворота:

В день празднования мира, нанеся мне публично оскорбления за столом, он приказал вечером арестовать меня. Мой дядя принц Георг заставил

отменить этот приказ. С этого дня я стала вслушиваться в предложения, которые делались мне со времени смерти Императрицы³⁶.

Немного меньше известно о происшествиях, пришедшихся на второй день торжеств, однако они отвечают общей картине поведения императора. Д'Аржанто упоминает банкет и фейерверки, хотя несколько преувеличивает количество приглашенных³⁷. Самое подробное описание событий оставил Болотов, ошибочно датирующий их 10 мая вместо 10 июня (это неудивительно – его записки составлялись сорок лет спустя). По его словам, Петр склонил колени перед портретом Фридриха, помещенным в банкетный зал, и «называл его своим государем». Самого Болотова там не было, но, по его свидетельству, «говорили только тогда все о том». В поступке Петра Болотов и его современники видели «происшествие, покрывшее всех присутствующих при том стыдом неизъяснимым и сделавшееся столь громким, что молва о том на другой же день разнеслась по всему Петербургу и произвела в сердцах всех россиян и во всем народе крайне неприятные впечатления»³⁸. Воспоминания об этом «происшествии», естественно деформированные временем, отозвались по меньшей мере в трех источниках. В депеше французского поверенного в делах Беранже от 18 июня 1762 года описанный Болотовым эпизод контаминируется с застольной ссорой высочайшей четы:

Было бы слишком утомительно описывать все происходившее во время празднования мира. Мы видели российского монарха, утопшего в вине и лишившегося употребления ног и языка. С превеликим трудом, как заправский пьяница, бормотал он прусскому посланнику: «Пьем здоровье короля, нашего повелителя. Он сделал мне честь, доверив целый полк³⁹; надеюсь, у него не будет повода прогнать меня в отставку. Заверьте его, стоит ему только приказать, и я пойду войной противу самого ада со всей моей Империей». – «Ваше величество может быть спокойной, – шутливо возразила ему fraile Воронцова. – Для короля Прусского вы слишком хороший служитель, чтобы прогнать вас». Помимо сего унижительного для императрицы зрелища, она должна была еще терпеть от царя самые оскорбительные выпады, на кои отвечивала с неизменной почтительностью, хотя и не могла сдерживать слез. Вся нация разделяет ее скорбь и, оставаясь бессильной, молится за нее⁴⁰.

Кастера не сообщает об этом эпизоде, зато в другой связи упоминает портрет прусского короля. Получив от него чин генерал-майора, Петр, по словам Кастера, «велел повесить портрет короля в своих покоях и отпраздновал это производство торжественным обедом, на котором он оставил соблюдавшуюся им до поры воздержанность»⁴¹. Наблюдавший все своими глазами Рюльер, напротив того, достоверно описывает поведение императора, но не приурочивает его к определенной дате: «Часто, выскочив из-за стола со стаканом в руке, он бросался на колени пред портретом короля прусского и кричал: «Любезный брат, мы покорим с тобою всю вселенную!»⁴²

С фейерверком, подробно описанным у Болотова и в «Ведомостях» и, по мнению позднейшего биографа императора фон Гельбига, превосходившим все виденное в Петербурге⁴³, связан еще один случай вызывающего поведения Петра. Кастера рассказывает, что Петр и Екатерина во время фейерверка сидели рядом; император, «увидев проходившую мимо графиню Воронцову, его любовницу, подозвал ее и посадил рядом с собой. Екатерина немедленно удалилась, а супруг не соизволил ее удерживать»⁴⁴.

Представляется, что в очерченных нами происшествиях необходимо видеть составные части единого процесса, и только в этом случае можно оценить их историческое значение.

Если рассматривать их порознь, то трудно обнаружить толчок, заставивший Екатерину всерьез заняться подготовкой переворота. Однако вместе они позволяют понять, почему императрица ощутила себя на краю гибели: Петр публично оскорбил ее, пожаловал один из высших орденов своей любовнице, приказал взять супругу под стражу, заявил о готовности поставить империю на службу Фридриху Прусскому и усадил Воронцову на место Екатерины.

Вернемся к вопросу об общественном мнении. Почти все свидетели и мемуаристы, оставившие сведения о событиях этих дней, выказывали отвращение к вызывающему поведению императора. За отсутствием открытой печати трудно доказать, что это недовольство не ограничивалось гостями Зимнего дворца. В нашем распоряжении имеются только далеко не беспристрастные свидетельства Болотова, Дашковой и Екатерины; каждый из них имел основания преувеличивать масштаб возмущения, соответственно, в военной и придворной среде. Можно указать, однако, еще одного свидетеля – А.П. Сумарокова, не принимавшего непосредственного участия в перевороте (хотя и демонстрировавшего еще в елизаветинское царствование солидарность с Екатериной). Три строфы из его оды на восшествие Екатерины посвящены описанным трехдневным торжествам:

Российски лавры увядали,
И отдавались врагам.
Которых Россы побеждали,
Повергли Россов к их ногам.
Мир ложный Россы проклинали,
Во время торжества стонали,
На небо с плачем вопия,
И в бедство ввергнуться дерзая,
Власы от горести терзая,
И в томну грудь себя бия.

Повсюду огненные свету;
Но что вещают нам огни?
Да здравствуют на многи лету,
Смутивши мужи ваши дни,
Да щастье Россов погубится,
Народ Российский истребится,
И православие падет,
В объятии имея сына,
Да страждет с ним ЕКАТЕРИНА,
И в век спокойства не найдет.

На свете что сей злая части?
О мир! о трепроклый мир!
Для нашея, у нас, напасти,
Еще уставлен пышный пир.
Зря пиршество сие безславно,
ЕКАТЕРИНА плачет явно,
И видит то весь двор и град:
Весь двор, весь град тому свидетель,
Колика в ОНОЙ добродетель,
И скольких можно ждать отрад⁴⁵.

Строки, сочиненные вскоре после переворота (не позднее 6 июля), – самый ранний (после газетного отчета) печатный отзыв об июньских событиях. Неизвестно, как именно Сумароков узнал о них: либо он сам присутствовал при торжествах, либо слышал рассказы очевидцев. Показательны строки «Зря пиршество сие безславно, / ЕКАТЕРИНА плачет явно». Упоминая яркую деталь придворной хроники, Сумароков подменяет причину высочайших слез: вместо обидных слов ею оказываются сами торжества «трепроклятого мира». Оскорбление нанесено не только Екатерине, но и всей нации: именно так обосновывается необходимость переворота.

Хотя Сумароков еще при жизни Елизаветы принадлежал к «екатерининской партии», его свидетельство нельзя списать на пропагандистские усилия новой власти. Взойдя на престол, Екатерина объявила

о намерении соблюдать мирный договор от 24 апреля (но не союзный трактат от 8 июня). В оде Сумарокова, осуждавшего «трепроклятый мир», можно было усмотреть призыв к новой войне против Пруссии, расходившийся с политикой Екатерины. Позволительно утверждать поэтому, что ода выражала точку зрения самого поэта и, возможно, дворянских кругов Петербурга, но не государственной «пропагандистской машины». Стихи Сумарокова документируют, таким образом, острую общественную реакцию на опрометчивую политику и неосторожное поведение Петра – реакцию, которая привела в конце концов к его падению.

Примечания

¹ См.: Подлинная переписка императора Петра III с королем Пруссим Фридрихом II. 1762 // Русская старина. 1871. Т. III. С. 300–305.

² Уортман Р. Сценарии власти: Мифы и церемонии русской монархии: В 2 т. М., 2002. Т. I. С. 18–19.

³ См.: Бильбасов В.А. История Екатерины Второй. СПб., 1890. Т. 1; Соловьев С.М. Сочинения: В 18 кн. М., 1994. Кн. 13 (История России с древнейших времен. Т. 25:

Царствование императора Петра III Феодоровича). С. 7–97; Фирсов Н.Н. Петр III и Екатерина II: первые годы ее царствования: Опыт характеристик. Петроград, 1915; Брикнер А.Г. История Екатерины Второй. СПб., 1885. Т. 1.

⁴ Дашкова Е.Р. Записки. Письма сестер М. и К. Вильмот из России. М., 1987. С. 57.

⁵ Мыльников А.С. Петр III: повествование в документах и версиях. М., 2002. С. 132–133.

⁶ Leonard C.S. Reform and Regicide: the Reign of Peter III of Russia. Bloomington, 1993. P. 5.

⁷ Ibid. P. 146; курсив мой.

⁸ Речь идет об особенностях поведения Петра, отмеченных в записках Екатерины, Дашковой, А.Т. Болотова и др. Напротив, картина политики его царствования, вне сомнения, была фальсифицирована в манифестах Екатерины.

⁹ Мыльников А. С. Указ. соч. С. 131.

¹⁰ Там же.

¹¹ Лиштенан Ф.Д. Россия входит в Европу: Императрица Елизавета Петровна и война за Австрийское наследство, 1740–1750. М., 2000. С. 294–295; курсив мой.

¹² Каменский А.Б. «Под сению Екатерины»: вторая половина XVIII века. СПб., 1992. С. 87.

¹³ Keith Sir Robert Murray. Memoirs and Correspondence (Official and Familiar). London, 1849. Vol. I. P. 56–57; цит. по: Тургенев А.И. Российский двор в XVIII веке / Пер. Д.В. Соловьева. СПб., 2005. С. 222.

¹⁴ Донесения графа Мерси д'Аржанто императрице Марии Терезии и государственному канцлеру, графу Кауницу-Риттбергу // Сборник Императорского русского исторического общества. СПб., 1876. Т. XVIII. С. 334–336. Д'Аржанто со ссылкой на достоверные источники утверждал, что Екатерина заперлась у себя и весь день провела «в горьких слезах» (Там же. С. 350).

¹⁵ Там же. С. 341.

¹⁶ Там же. С. 354.

¹⁷ Санктпетербургския ведомости. 1762. № 50. <С. 1>.

¹⁸ Донесения графа Мерси д'Аржанто. С. 401.

¹⁹ См.: Болотов А.Т. Записки... Тула, 1988.

Т. I. С. 373–375; Helbig G. von. Biographie Peter des Dritten. Tübingen, 1808. Bd. II. S. 84.

²⁰ Подлинная переписка... С. 306; ср.: Соловьев С.М. Указ. соч. С. 70.

²¹ Отметим, что Екатерина короновалась в Москве всего через три месяца после восшествия на престол.

²² Бильбасов В.А. Указ. соч. С. 431.

²³ Дашкова Е.Р. Указ. соч. С. 57. Датировка этого эпизода в историографии до сих пор колеблется, хотя еще Бильбасов вполне убедительно приурочил его к 9 июня, первому дню торжеств; см.: Там же. С. 432. И. де Мадариага ошибочно относит его ко второй половине апреля (см.: *de Madariaga I. Russia in the Age of Catherine the Great. New Haven, 1981. P. 27*), а Мыльников – к 24 мая (см.: Мыльников А. С. Указ. соч. С. 27).

²⁴ Castéra J.-H. Vie de Catherine II, Impératrice de Russie. Paris, 1797. Vol. I. P. 184. Леонард отбрасывает сообщения Кастера – «мелкого сочинителя и переводчика, никогда не приезжавшего в Россию» (*Leonard C.S. Op. cit. P. 14*). Напротив, Бильбасов считал его книгу ценнейшим источником сведений о Екатерине и показывал, что Кастера имел доступ к неопубликованным документам французского двора (Бильбасов 5.А. Указ. соч. С. 632–633; см. также: *Somov V.A. Le livre de Castéra d'Artigues sur Catherine II et sa fortune // Catherine II et L'Europe / Ed. par A Davidenkoff. Paris, 1997. P. 211–223*).

²⁵ Екатерина II. Сочинения... на основании подлинных рукописей: В 12 т. СПб., 1907. Т. 12: Автобиографические записки. С. 493. Перевод см.: Путь к трону: История дворцового переворота 28 июня 1762 года. М., 1997. С. 184–185.

²⁶ Екатерина II. Указ. соч. С. 480; Путь к трону... С. 174. Рюльер, наблюдавший Екатерину перед переворотом, также отмечает ее способность оборачивать в свою пользу нанесенные ей обиды: «Получив обиду от императора, всякий раз, когда надобно ей было явиться при дворе, она, казалось, ожидала крайних же стокостей. Иногда при всех, как будто против ее воли, навертывались у ней слезы, и она, возбуждая всеобщее сожаление, приобрела новое себе средство»

(Путь к трону. С. 440; оригинал см.: *Rulhière C.-C. Histoire ou anecdotes sur la révolution de Russie, en l'année 1762. Paris, 1797*).

²⁷ Санктпетербургския ведомости. 1762. № 50. [С. 2].

²⁸ Дашкова Е.Р. Указ. соч. С. 62; см. также: Донесения графа Мерси д'Аржанто... С. 401.

²⁹ Согласно воспоминаниям придворного ювелира, Воронцова уже получила орденский знак к моменту прибытия в Ораниенбаум с окружением Петра 14 июня. См.: Записки придворного бриллианщика Позье о пребывании его в России с 1729 по 1764 г. // Русская старина. 1870. Т. I. С. 215.

³⁰ Донесения графа Мерси д'Аржанто... С. 163–164.

³¹ Из воспоминаний Я.Я. Штелина; цит. по: Мыльников А.С. Указ. соч. С. 408.

³² Донесения графа Мерси д'Аржанто... С. 164. Дашкова пишет: «По уставу этот орден дается только членам императорской фамилии и иностранным принцессам. Исключение может быть сделано для какого-либо частного лица, спасшего жизнь государя или оказавшего выдающуюся услугу родине» (Дашкова Е.Р. Указ. соч. С. 62).

³³ См.: Кузнецов А. Энциклопедия русских наград. М., 2002. С. 44.

³⁴ 4 августа 1762 года, через месяц после переворота, Гораций Уолпол сообщал своему корреспонденту, что знает «из надежных рук», будто «на следующее утро (после отречения. – Р.В.) мадемуазель Воронцова бросилась на колени перед царицей и умоляла сложить с нее орден Св. Екатерины, которым оный царь пожаловал ее двумя месяцами ранее (sic!) и которого она чувствовала себя недостойной» (*Walpole H. Correspondence. New Haven, Connecticut, 1937–1983. Vol. XXII. P. 567*).

³⁵ Храповицкий А.В. Дневник. М., 1901. С. 398. В русском переводе пропущена немаловажная фраза прокомментированного Екатериной пассажа из Денина. Во французском оригинале читаем: «Il obligea l'impératrice son épouse à décorer de l'ordre de S-te Catherine la comtesse de Woronzow, qu'il déclarait parlà sa favorite en titre»

(«.. которую он тем самым провозгласил официальной фавориткой») (с. 283).

³⁶ *Екатерина II*. Указ. соч. С. 547. Перевод см.: *Мыльников А.С.* Указ. соч. С. 440. Любопытно, что ни публичная обида, ни приказание об аресте Екатерины не упомянуты в детальной хронике переворота. См.: *Искюль С.Н.* 1762 год: документальная хроника. СПб., 2001.

³⁷ *Донесения графа Мерси д'Аржанто...* С. 401.

³⁸ *Болотов А.Т.* Указ. соч. С. 373.

³⁹ Эта подробность подтверждается письмами Фридриха к Петру. См.: *Подлинная переписка...* С.308.

⁴⁰ *Тургенев А.И.* Указ. соч. С. 217.

⁴¹ *Castéra J.-H.* Op. cit. T. I. P. 176.

⁴² Россия XVIII в. глазами иностранцев. Л., 1989. С. 269. В переводе ошибочно стоит «перед престолом» вместо «перед портретом»; во французском оригинале: «devant le portrait du roi de Prusse» (*Rulhière C.-C.* P. 38).

⁴³ См.: *Helbig G. von.* Op. cit. Bd. II. S. 84.

⁴⁴ *Castéra J.-H.* Op. cit. T. I. P. 183–184. Кастера, опиравшийся на неустановленные источники, относит банкет и фейерверк к одному и тому же дню и меняет их очередность.

⁴⁵ Ода Ея Императорскому Величеству Екатерине Алексеевне, Императрице и Самодержице Всероссийской, на День Возшествия Ея на Всероссийский Императорский Престол Июня 28 Дня 1762 Года. СПб., 1762. С. 12–13.

Елена Погосян

Момус и Превратный свет в маскараде «Торжествующая Минерва»

Маскарад «Торжествующая Минерва» длился три дня: с 30 января по 2 февраля 1763 года. Этот маскарад, приуроченный к Масленице, был частью торжеств, посвященных коронации Екатерины II. «Торжествующая Минерва»¹ была, как сказано в объявлении о маскараде, «общенародным зрелищем», устроенным для «всякого звания людей». Маскарадное шествие состояло из двух больших групп: первая группа показывала зрителям «гнусность пороков», а вторая была посвящена «славе добродетели». Маскарад имел свой сюжет: за пороками следовали Вулкан с циклопами, которые «готовили гром», и за ними двигалась колесница Юпитера. Гром, который готовил Вулкан, должен был поразить пороки, и после того, как победа была одержана, наступало счастливое время: за Юпитером двигалась группа под названием «Золотой век», а за ней – сама «торжествующая Минерва».

Устроители маскарада выбрали для сценария традиционную аллегория: Минерва побеждает пороки. Сюжет этот был хорошо знаком европейской живописи (примером может служить картина Монтеньи из коллекции Лувра «Минерва, изгоняющая пороки», 1502), он встречается также во «французском» (с ариями) балете (например, в «Триумфе Минервы», поставленном в Париже в 1621 году), фейерверках и других жанрах придворной культуры. В России этот сюжет известен, например, по плафону работы Георга Гзелля и его учеников, который украшал кабинет Летнего дворца Петра I².

Для А.П. Сумарокова и участников его журнала «Трудолюбивая пчела» Минервой была великая княгиня Екатерина Алексеевна. Сумароковский журнал начал выходить в 1759 году, он был посвящен Екатерине, и посвящение, открывающее журнал, гласило:

Умом и красотой и милостью Богиня,
О просвещенная Великая Княгиня!
Великий Петр отверз к наукам Россам дверь,
И вводит в ону нас ЕГО премудра ДЩЕРЬ,
С Екатериною Петру подобясь ныне,
И образец дая с Петром Екатерине,
Возвысь сей низкий труд примерами ЕЯ,
И покровительством Минерва будь моя!
[Трудолюбивая пчела, нenum.]

После вступления Екатерины на престол Минерва становится одним из центральных мифологических уподоблений новой императрицы.

Исследователи постоянно обращаются к «Торжествующей Минерве», и это понятно: маскарад был одним из первых крупных идеологических проектов нового царствования. Историки придворной культуры, однако, интерпретируют этот маскарад иногда диаметрально противоположным образом.

Так, Ричард Вортман пишет о том, что екатерининский уличный маскарад использовал формы популярной культуры и демонстрировал представление императрицы о необходимости морального перерождения ее подданных. «В просветительском сценарии Екатерины, – пишет Вортман, – знание и разум должны были помочь монарху преодолеть недостатки, присущие человечеству. <... > Маскарад, таким образом, представлял то, что станет екатерининской вер-

сией просвещенного самодержавного государства» [Wortman: 57]. Такая точка зрения противостоит взгляду на маскарад, который был сформулирован Г.А. Гуковским в 1935–1936 годах.

В 1935 году в сборнике «XVIII век» П.Н. Берков опубликовал статью, посвященную хорам, написанным к маскараду. Как известно, в программе «Торжествующей Минервы» были помещены стихи на маскарад, подписанные «Сочинял М. Херасков», описание, подписанное «Изобретение и распоряжение маскарада Ф. Волкова», и хоры за подписью «Только одни хоральные песни в сем маскараде сочинения ***». Основанием для того, чтобы считать А.П. Сумарокова автором хоров, является тот факт, что Н.И. Новиков включил хоры в посмертное издание сочинений поэта. Сюда же был включен ранее неизвестный «Другой хор ко превратному свету», где критике подвергались не столько пороки подданных российских монархов, сколько общественный порядок в целом: за морем, говорится в хоре, с крестьян «кожи не сдирают», «деревень на карты там не ставят», «людьми не торгуют», там «откупы не в моде». Язык этого хора намного жестче, чем маскарада в целом, например, «воеводская метресса» здесь сравнивается с «жирною гадкою крысой» [Сумароков: 279–281]. В своей статье Берков ставит под сомнение авторство Сумарокова и осторожно предполагает, что хоры, в том числе и «Другой хор», написаны Ф.Г. Волковым [Берков: 186, 188–200].

В этом же сборнике был напечатан и ответ Г.А. Гуковского на статью Беркова. Гуковский приводит здесь многочисленные аргументы в пользу того, что автором всех хоров следует считать Сумарокова, и, объясняя отсутствие подписи, высказывает предположение о том, что «Другой хор» был запрещен властями, а потому Сумароков вынужден был написать смягченный вариант хора, но, рассердившись, снял свою подпись. Согласно Гуковскому, «Другой хор» исходно был частью маскарада и отражал позицию не только Сумарокова, но и всех организаторов маскарада, то есть «группы Сумарокова». Запрет же «Другого хора», в свою очередь, ведет к предположению о том, что Екатерине маскарад не понравился. Эти аргументы в целом повторены и в книге Гуковского «Очерки по истории русской литературы XVIII века: Дворянская фронда в литературе 1750–1760-х годов», которая вышла в 1936 году. Г.А. Гуковский писал здесь о «Другом хоре»:

Это замечательное произведение, заключающее своего рода политическое кредо Сумарокова и всей окружавшей его «партии», без сомнения, и было первой редакцией хора <...>. Сумароков решился, видимо, изложить <...> ряд политических мнений своей группы, причем включение хора в маскарад придало бы такому изложению характер правительственной декларации. Он захотел навязать торжествующей Екатерине-Минерве свои взгляды. Очевидно, она не согласилась на это [Гуковский 1936:174–175].

Мнение Гуковского разделяют и современные историки культуры XVIII века. Так, Вера Проскурина в книге «Мифы империи: Литература и власть в эпоху Екатерины II», ссылаясь на Гуковского, пишет:

Екатерина была откровенно раздражена знаменитым маскарадом 1763 года «Торжествующая Минерва» <...>. Так, в частности, сумароковский «Хор ко превратному свету» не был допущен к исполнению. Он содержал слишком серьезную социальную программу, заранее обреченную на провал <...>. Был и еще один очевидный композиционный «просчет» (возможно, сознательный) в организации торжества: заключительный выход, аллегорически изображавший Золотой век, представленный колесницей Астреи, двусмысленным образом соседствовал с предыдущим аллегорическим шествием – «Колесницей развращенной Венеры» [Проскурина: 76–77].

Чтобы решить, был маскарад панегириком, выражавшим позицию Екатерины, или же он выражал позицию «партии» Сумарокова, требуется самое подробное исследование маскарада.

В настоящей статье будет предпринята попытка прокомментировать два эпизода из описания «Торжествующей Минервы». Но сначала нужно сделать несколько уточнений к интерпретации маскарада, данной в работах Г.А. Гуковского и Веры Проскуриной.

Во-первых, трудно согласиться с тем, что в композиции маскарада присутствовала оплошность. «Колесница развращенной Венеры» была частью группы Мотовства и Бедности. Эту группу открывали карточные масти и картежники, потом следовала «развращенная Венера» с Купидоном и прикованные к ее колеснице мужчины и женщины, а за ней – Роскошь и моты, хор бедных и Скупость с ее «следователями». Эта группа завершала шествие пороков. За пороками шла группа Вулкана и Юпитера. Ее открывали 14 кузнецов с инструментами, потом «часть горы Этны, где Вулкан с циклопами готовят гром», и за ними двигалась колесница Юпитера. Далее следовала группа под названием «Золотой век». Здесь шли: хор пастухов с флейтами, хор пастушек, хор отроков, которые несли оливные ветви, и 24 золотых часа. Завершала шествие колесница «для золотого времени» и в ней Астрея. Екатерину в маскараде представляла Минерва, завершающая шествие, но даже если предположить, что Астрея тоже представляла императрицу (что разрушает логику маскарадной процессии), то вряд ли у зрителей могла возникнуть ассоциация по смежности: Венера и Астрея, как мы видим, были разделены целой чередой масок.

Во-вторых, у нас нет прямых свидетельств тому, что Екатерина была раздражена маскарадом. Мы знаем только, что она смотрела «Торжествующую Минерву» 30 января из дома И.И. Бецкого из «состоящего на большую улицу покоя, сделанного на подобие большого фонаря» [Журнал 1763: 23]. Сказанное, разумеется, не отменяет всех положений Г. А. Гуковского и Веры Проскуриной, но вопрос о том, каким же был замысел маскарада, остается открытым. Только подробное изучение маскарада может дать ключ к его решению. В настоящей статье будет предпринята попытка объяснить значение двух масок из «Торжествующей Минервы»: маски Момуса и маски Превратного света.

Первая часть шествия представляла, как уже было указано, пороки подданных новой императрицы. Эту группу в основном составляли «традиционные» пороки: Бахус (пьянство), Несогласие, Обман, Невежество, Мздоимство, Спесь, Мотовство и Бедность. Все они имели свои знаки, свои девизы и свою свиту. Два порока, Момус-Пересмешник и Превратный свет, как будто выбиваются из этого ряда: они не совсем пороки, а скорее олицетворения маскарада вообще. Остановимся на них подробнее.

Группа «Момуса или пересмешника», древнегреческого бога насмешки и злословия, открывала шествие. Сам Момус шел последним, ему предшествовала его свита, за которой следовала замысловатая композиция: «Два человека ведут быка с приделанными на груди рогами, на нем сидящий человек имеет на грудях оконницу и держит модель кругом вертящегося дома». Момус не был обычным персонажем в маскарадах-зрелищах, которые давались для публики при Петре и Анне Иоанновне, каким, например, был Бахус. Поэтому составители описания нашли необходимым пояснить читателю, что именно изображала эта странная композиция. В примечании говорилось: «Мом, видя человека, смеялся, для чего боги не сделали ему на грудях окна, сквозь которое бы в его сердце смотреть было можно, быку смеялся, для чего боги не поставили ему в грудях рогов, и тем лишили его большей силы, а над домом смеялся, для чего не можно, есть ли у кого худой сосед, поворотить на другую сторону». Это объяснение восходит в первую очередь к басне Эзопа [Aesop: № 518]. Басня рассказывает о том, как Зевс, Посейдон и Афина заспорили о том, кто из них сможет создать что-нибудь действительно хорошее. Зевс сотворил человека, Афина – дом, в котором человек может жить, а Посейдон – быка. И выбрали в судьи Момуса. Момус недолюбливал всех троих и потому сразу же стал ругать творения богов. Рога быка, по его мнению, должны были быть помещены на груди, тогда бык сможет видеть, куда бодает, человеку следовало сделать окно в груди, чтобы

было видно, что у него на сердце, а дом следовало поставить на колеса, чтобы его обитатели могли перевозить его с места на место, если им вздумается путешествовать. Мораль басни гласила: нет ничего, что может удовлетворить того, кто похож на Момуса.

Этот сюжет был широко представлен в европейской эмблематической литературе. В популярной эмблеме Адриануса-младшего [Hadrianus: № 16] к нему дан подробный комментарий. Момус, указано здесь, был сыном Ночи. «Из-за глубочайшей темноты невежества и ошибочных суждений, а также потому, что ему недоступен был свет разума, в Момусе развилась дурная страсть порицать поступки других людей. Сам же он не способен создать ничего стоящего, и только и следит своими хищными глазами за тем, что делают другие. <... > Его изображают с лицом темного цвета, черными зубами и грязными ногтями. <... > Его также изображают с крыльями, потому что ничего не распространяется так стремительно, как ругань и оскорбления» [Hadrianus: 67–68]. В «Торжествующей Минерве» описания самого Момуса не дано, но можно ожидать, что устроители маскарада следовали сложившейся иконографической традиции и Момус был представлен именно так: темнолицым, с черными зубами и грязными ногтями.

Знак Момуса в маскараде 1763 года украшали куклы и колокольчики, и его девизом было «Упражнение малоумных». Пересмеивание, таким образом, было отнесено к порокам и, как можно полагать, было противопоставлено задаче самого маскарада, которая, по словам Хераскова, заключалась в «хуле порокам», «смехе дурным страстям» и исполнении роли «зеркала» для человеческих сердец. Уже Гуковский указал, что в маскараде «были и прямые политические намеки (на Петра III и др.)» [Гуковский 1935:204]. Как можно полагать, Гуковский основывал это наблюдение на совпадении некоторых эпизодов маскарада с тем, что Екатерина позднее писала о Петре Федоровиче в своих «Записках». На императора мог намекать ряд персонажей из свиты Момуса.

Так, здесь были «театры с кукольщиками, по сторонам оных 12 человек на деревянных конях с гремушками». Эта группа напоминает целый ряд эпизодов из «Записок» Екатерины: из них мы знаем, что великий князь Петр Федорович долгое время играл в куклы, любил сам устраивать представления кукольного театра, а Екатерина называла его развлечения погремушками [Екатерина: 276, 282, 298, 389]. Когда Петр Федорович завел в Ораниенбауме потешный голштинский отряд, «Шуваловым он дал понять, что, потворствуя ему этой игрушкой или погремушкой, они навсегда обеспечат себе его милость» [Екатерина: 391]. В свите Момуса был «Прожектер и мечтатель». Этот персонаж также похож на Петра Федоровича, описанного Екатериной.

Речи его, – пишет, например, Екатерина, – были большею частью безсвязны, и воображение его часто разыгрывалось. Помню, что как-то раз он был занят почти целую зиму проектом постройки в Орииенбауме дачи в виде капуцинского монастыря, где он я и весь двор, который его сопровождал, должны были быть одеты капуцинами <...>. Каждый должен был иметь клячу и по очереди ездить на ней за водой или возить провизию в мнимый монастырь; он помирал со смеху и был вне себя от удовольствия [Екатерина: 347].

Арлекин, включенный в свиту Момуса в маскараде, прямо отсылал к кличке, данной Екатериной Петру Федоровичу и известной нам по ее запискам. По смерти императрицы Елизаветы Петр Федорович «был вне себя от радости и оной ни мало не скрывал, и имел совершенно позорное поведение, кривляясь всячески <... > представляя более не смешного Арлекина» [Екатерина: 464]. Наконец «пустохваст» и «безумный враль» из маскарада также могут быть проиллюстрированы эпизодами из записок Екатерины. «Первая ложь, которую великий князь выдумал, – пишет, например, она, – заключалась в том, что он, дабы придать себе цены в глазах иной молодой женщины или девицы, рассчитывая на ее неведение, рассказывал ей,

будто бы, когда он еще находился у своего отца в Голштинии, его отец поставил его во главе небольшого отряда своей стражи и послал взять шайку цыган» (Екатерина указывает, что ее супругу было в то время 6 или 7 лет). «Мне было бы невозможно, – добавляет она, – в настоящее время пересказать все бредни, какие он часто выдумывал и выдавал за факты» [Екатерина, 412, 413]. И в целом указания на склонность Петра Федоровича к бестолковому пересмеиванию окружающих рассыпаны по запискам Екатерины³.

Уже из приведенных отрывков мы видим, что Петру Федоровичу посвящен практически весь первый раздел маскарада. Но и в тех персонажах из свиты Момуса, которые не находят параллелей в записках императрицы, можно увидеть намеки на покойного императора. Так, в свите Момуса был Родоманд. Перед ним в маскараде шли «флейщики и барабанщики в кольчугах», а потом следовал и сам «Родоманд, забияка, храбрый дурак верхом, за коим следует паж, поддерживая его косу». Длинная коса, как можно полагать, была намеком на попытку ввести новый мундир с косой и буклями по прусскому образцу. Родоманд же – персонаж «Влюбленного Роланда» Боярдо и «Неистового Роланда» Ариосто. Во «Влюбленном Роланде» Родоманд (Radamanto) является в десятой песни первой книги среди других рыцарей. Он представлен здесь гигантом 20 футов ростом, королем великой Московии. В дальнейшем Родоманд в поэме Боярдо одерживает ряд побед, но в конце концов оказывается побежден Роландом. В награду за эту победу Роланд получает от Агрикана Московию, которая простирается, как мы узнаем из поэмы, «до самого Русского моря, которое есть океан». Сам же бывший правитель Московии, как указывает Агрикан, благодаря Роланду «дышит дымом в аду» [Boiardo: 156,232]⁴. У Ариосто в «Неистовом Роланде» Родоманд не только неистовый великан, он гордец и хвастун, который перессорился со всеми своими союзниками. Однако о Московии здесь уже не упоминается [Ariosto, песни 17, 24–25]. В качестве комического героя Родоманд встречается в целом ряде источников, в первую очередь в продолжениях поэмы («Смерть Родоманда», 1572 [Desportes: 336–35²]), и в качестве хвастуна и забияки становится одним из устойчивых персонажей итальянской комедии, где он носит имя Капитана Родоманда. Из итальянской комедии под тем же именем он перекочевал во французские уличные фарсы [Farces du Grand Siècle]. Неудивительно поэтому, что в свите Момуса он появляется в окружении Пантолона и Арлекина. Можно предположить, что Родоманд, «король великой Московии» и «гигант», был одной из многочисленных кличек Петра Федоровича в ближнем кругу великой княгини Екатерины Алексеевны.

Использование персонажей итальянской комедии⁵ для того, чтобы «неофициально», не вынося сора из дворца, обсудить недостатки членов царской семьи, не было изобретением Екатерины. Сохранились выполненные В.К. Тредиаковским русские переводы (точнее, краткие пересказы) итальянских комедий, которые давались при дворе Анны Иоанновны. Родоманд появляется лишь в одной из них, и только как судья в царстве Плутона, но эта комедия заслуживает того, чтобы остановиться на ней подробнее.

Речь идет о пьесе «Смералдина кикимора», игранной в Петербурге в 1733 году. В «Перечне всея комедии» указано: «Сильвий муж Смералдинин влюбился в Диану, и обещает взять ее за себя, сказывался не женатым быть. Это самое принудило его, чтоб убить свою жену». Но убийца пожалел Смералдину и отпустил ее, она обратилась за помощью к «адскому Богу Плутону», и тот, посоветовавшись со своими судьями, дает ей способность оборачиваться в кого угодно и говорить всеми языками. Смералдина возвращается в Болонью, где живет ее муж, и, используя данные ей Плутоном способности, выводит на чистую воду и мужа, и его любовницу. Для этого Смералдина является в виде женщин, которые объявляют себя невестами и женами Сильвия. В дополнительном диалоге, написанном, без сомнения, специально для петербургского представления, одна из самозванок, по ее словам, прибыла из Московии.

Я родилась, – говорит она, – в Москве, дочь только одна И..., который поставлен был Доктором в медицине в Санктпетербургский мясной ряд и который не уступал в своем искусстве главному столяру голландскому. Мать моя называлась И... и такая женщина, что она могла услужить обществу Рижскому. Продавала она масло коровье по алтыну фунт; а я варила пиво в И... улице; и оное так удавалось, что русские в добрые кулаки совались, для того чтоб прежде кому пить.

В заключение она показывает «танец на русскую статью» [Перетц: 38–40]. Этот эпизод, без сомнения, должен был намекать на цесаревну Елизавету, при этом характеристики и ее самой, и ее родителей крайне откровенны. Учитывая, что эта комедия была представлена при дворе, можно не сомневаться, что дополнительный диалог если не был придуман самой Анной Иоанновной, то непременно ею одобрен. По намекам на Петра I, Екатерину I и цесаревну Елизавету пьеса должна была быть памятна современникам (хотя вряд ли ее ставили при Елизавете, даже без вставного диалога). Сюжет же комедии настолько близок тому, что сама Екатерина рассказывала неоднократно о своем положении после смерти Елизаветы Петровны, что намеренная отсылка к этой комедии кажется вполне вероятной. Напомним, что С.-А. Понятовскому летом 1762 года Екатерина писала о Петре Федоровиче: «Он хотел переменить веру, жениться на Л. В. (Елисавете Воронцовой), а меня заключить в тюрьму» [Екатерина: 491].

Группа Момуса была описана и в «Стихах к большому маскараду» Хераскова:

Как ветром у иных вертит мозги буйнство,
Безумство, кукольство, дурачество и пьянство,
И только вообразишь яснее их дела,
В какую сторону их слабость завела!
Иной под умною одеждой глупость кроет,
Иной на воздухе войны и замки строит:
Тот мыслит о вещах ребячьих, мозг вертя,
И резвится еще с гремушкой как дитя.

Появление в описании Момуса пьянства, воздушных замков, а особенно слабости еще раз подтверждает то, что речь идет о Петре Федоровиче.

Упоминание Момуса в маскараде не было единственным. Он является и среди персонажей аллегорического балета, который был представлен 24 ноября 1763 года при опере В. Манфредини «Карл Великий». Балет назывался «Возвращение Аполлона на Парнас» («La Retour d'Apollon au Parnasse»). Аполлон тут, конечно же, представлял Екатерину, а его возвращение на Парнас – ее восшествие на престол [Русский балет].

Подтверждением тому, что Момус был одной из кличек Петра Федоровича, может быть ода Сумарокова 1767 года. Она посвящена путешествию императрицы по Волге, в этом путешествии Екатерина вместе с группой придворных переводила философскую повесть «Велизарий», и среди переводчиков было несколько знакомцев и в прошлом учеников Сумарокова: Г.В. Козицкий, П.П. Елагин и Л.А. Нарышкин. По всей видимости, именно воспоминания о маскараде «Торжествующая Минерва» отразились в стихах оды:

ОНА премудрость вам явила,
И ЕЮ поражен ваш Мом.

[Сумароков 1767: 5]

Момус здесь, как и в маскараде, где он представлял «упражнение малоумных», противопоставлен премудрости (в маскараде – Минерве). Кроме того, воспоминание о том времени, когда Петра Федоровича называли Момусом, связано у Сумарокова с ситуацией, когда группа литераторов вместе с императрицей занимается литературными трудами. Может быть, именно так готовился маскарад «Торжествующая Минерва». Это могло бы объяснить, каким образом группа литераторов и один актер не только узнали все клички и характеристики Петра Федоровича, придуманные Екатериной или лицами из ее ближайшего окружения, но, главное, что они решились поместить намеки такого рода в «общенародное зрелище».

Вряд ли Екатерина встречалась и тем более переписывалась с устроителями маскарада. Скорее всего, доверенным лицом, связывавшим устроителей маскарада с новой императрицей, был П.П. Елагин: он был страстным поклонником Сумарокова и принадлежал к кругу херасковского «Полезного увеселения». В то же время Елагин принадлежал к кружку, который тайно собирался в комнате великой княгини или же в доме К.Г. Разумовского, куда инкогнито являлась Екатерина, он был конфиденнтом Понятовского и знал то, чего не знала широкая публика, в том числе «интимные» клички Петра Федоровича. Елагин доказал Екатерине свою абсолютную преданность в 1759 году, когда был сослан, но сохранил в тайне все, что знал о проделках и планах великой княгини [Сборник РИО: 75–81]. С ним Екатерина вполне могла обсуждать задуманную, вполне в духе секретных собраний 1758–1759 годов, шутку для маскарада, и его такту она могла доверить сложную задачу объяснить устроителям маскарада ровно столько, сколько им следует знать.

Вторая группа масок, которая выбивается из привычного ряда пороков и добродетелей, – это группа под названием «Превратный свет». Знаком этой группы были «летающие четвероногие звери и вниз обращенное человеческое лицо», а надпись гласила: «Непросвещенные разумы». В этой группе шли: хор в развратном (вывернутом наизнанку) платье, «два трубача на верблюдах и литавщик на быке», за ними четыре человека шли задом, далее – лакеи везли карету, в которой была посажена лошадь, и ветропахи везли карету, в которой сидела обезьяна, шли карлики и гиганты, потом – «люлька, в коей спеленан старик, и при нем кормящий его мальчик» и «люлька, в коей старуха играет в куклы и сосет рожок, и при ней маленькая девочка с лозою». За этими масками следовали «свинья с розами», «оркестр, где осел поэт, а козел играет в скрипку»; «Химера, кою рисуют четыре худых маляра» и «два рифмача, едущие на коровах». Наконец, «бочка, в коей Диоген со свечою», «Гераклит и Демокрит с глобусом», и при них «шестеро одетых в странное платье с ветряными мельницами».

«Превратный свет» не был, конечно же, изобретением авторов маскарада. Рассказы о превратном свете имеют фольклорное происхождение⁶, они широко были представлены в европейских лубочных листах [Jones: 356 и след.]. Эти листы носили название «Mundus Perversus», «Le Monde Renversé», «De Verkeerde Wereld», «Il Mondo alla Riversa», «Topsy-Turvy World». На таких листах помещались серии сценок, где, например, боров разделяет на мясо мясника, лошади и ослы ездят на своих хозяевах, женщины отправляются на войну, а мужчины занимаются рукоделием, младенцы качают своих родителей в колыбелях, ученики наказывают розгами учителей, небо находится под землей, корабли и галеры плывут по горам, рыбы и звери летают, камни плавают и проч. В русском лубке этот сюжет также известен. На картинке из коллекции Д. Ровинского помещены четырнадцать обычных для этого типа листов сценок, среди них: «бык не захотел быть быком, да и сделался мясником», «овца искусная мастерица велит всем пастухам стричься», «малые дети старика спеленали», «слепой зрячего ведет», «бабы осла забавляли, посадив в карету, по улицам возили», «нищий богатому милостыню дает», дворянин «дома с веретеном сидит, а жена его на карауле с копьём стоит», «попугай мужика в клетку посадил, чтобы он говорил», «ногами в шляпе хожу, а на голове сапог ношу», «мужик наряжась в стуле сидит, хочет стряпчих, судей и подьячих судить». На листе, однако, нет названия,

исследователи называют его просто «Бык не захотел быть быком» [Ровинский: № 214; Claudon-Adhémar: № 122].

Некоторые из французских листов на эту тему называются «Человеческая Глупость. Превратный свет» («La Folie des Hommes. Monde renverse»). Это название повторено в описании маскарада «Торжествующая Минерва» почти дословно: «Непросвещенные разумы» (надпись) и «Превратный свет».

Уже из приведенного выше перечня традиционных сценок видно, что в группе Превратного света были маски, которые прямо восходят к европейским лубочным листам. «Вниз обращенное человеческое лицо» также восходит к этому источнику. Здесь, как правило, помещалось изображение самого Превратного света в виде земного шара с головой, руками и ногами, по сторонам его стояли два человека, которые держали его вверх ногами. Кроме «обращенного лица», к описанному изображению восходит и еще одна сценка: «Гераклит и Демокрит с глобусом». Как правило, поддерживают глобус белый господин и чернокожий раб или два шута. Но встречаются и изображения Гераклита с Демокритом по сторонам глобуса («La monde retourné», 1635 [Lafond, Redondo: рис. 3]). В случае с Гераклитом и Демокритом, конечно же, обыгрывается известный (в том числе эмблематический) сюжет о том, что Гераклит плакал, смотря на людей, а Демокрит смеялся⁷. То есть можно с большой степенью вероятности полагать, что глобус и представлял в процессии Превратный свет, а шесть человек с ветряными мельницами, которые сопровождали философов с глобусом, подчеркивали, что он вертится.

Тема превратного света была популярна в комедии и комической опере XVIII века. Незадолго до маскарада, в 1759 году, в Москве силами университетских актеров была поставлена пьеса К. Гольдони «Обращенный мир» [Волков: 216] и напечатан перевод этой пьесы [Гольдони]⁸. Среди персонажей, которые сопровождали в маскараде Превратный свет, всего несколько как будто не укладываются в тематику перевернутого мира и не встречаются среди сюжетов, представленных на лубочных листах. Во-первых, это «худые маляры», которые рисуют Химеру, с сопровождающими их «рифмачами» на коровах, которые, как можно полагать, описывают Химеру в стихах (то есть и те и другие выбирают себе предметы для вдохновения из сферы нелепого и несуществующего, изображают химеры, «кружат в химерах» свою мысль). Эти персонажи, как можно полагать, были намеками на каких-то литераторов и должны быть рассмотрены отдельно, в контексте литературной полемики⁹.

Во-вторых, это «бочка, в коей Диоген со свечою». Можно предположить, что основанием для того, чтобы включить Диогена Синопского в группу Превратного света, был известный эпизод из сочинения Диогена Лаэртского «О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов»: «Умирая, на вопрос Ксениада, как его похоронить, он сказал: Лицом вниз. – Почему? – спросил тот. – Потому что скоро нижнее станет верхним, – ответил Диоген» [Диоген Лаэртский: 212]. Кроме того, в том, что Диоген жил в бочке вместо дома и ходил со свечой среди дня, есть определенная «превратность».

Прежде чем обратиться к Диогену, остановимся кратко на вопросе о двух редакциях «Хора ко Превратному свету». Как уже было указано, в нашем распоряжении есть два варианта хора: «Хор ко превратному свету», где за морем побывала собака, который был включен в печатное описание маскарада, и «Другой хор», в котором за море летала синица и который в печатное описание не попал. Независимо от того, кто именно из устроителей написал «Другой хор», и от причины, по которой он не был использован для маскарада, следует признать, что оба хора тесно связаны как между собой, так и с замыслом маскарада (возможно, на разных этапах формирования этого замысла). Остановимся на «Другом хоре» подробнее. Он начинается словами:

Прилетела на берег синица

Из-за полночного моря,
Из-за холодна океяна.
Спрашивали гостейку приезжу,
За морем какие обряды.
Гостья приезжа отвечала:
«Все там превратно на свете».

[Сумароков: 279]

Известно, что хор написан с использованием фольклорной песни о синице. В первую часть книги М.Д. Чулкова «Собрание разных песен» (СПб., 1770) включены две песни о синице: «За морем синичка не пышно жила» и «Протекало теплое море».

В песне «За морем синичка не пышно жила» [Чулков: № 196] рассказывается, что синица сварила пиво и пригласила в гости птиц. Птицы стали спрашивать «снигирюшку», почему тот не женится, и он отвечает: «Рад бы жениться, да некого взять», большинство невест состоят с ним в родстве:

Взял бы спернатку, да matka моя,
Взял бы чечетку, да тетка моя,
Взял бы синичку, сестричка моя.

В песне «Протекало теплое море» [Чулков: № 199] птицы слетаются и спрашивают «малую птицу синицу»:

Гой еси ты малая птица,
Малая птица синица,
Скажи нам всю истинную правду <... >
Кто у вас на море большие,
Кто у вас на море меньшие?

И синица «просвещает» птиц, начиная свой ответ словами: «Глупые вы Русские пташки». Она рассказывает, что орел на море – воевода, перепел – подъячий, петух – целовальник, чиж – живописец, клест – портной, дятел – плотник, ворон – игумен, чирята – крестьяне, а воробьи – холопы и т. д. Наконец, сама синичка, из-за того, что она не может ни косить, ни водить стада, «помирает голодом».

Обе песни имеют общие черты с «Другим хором». В первой песне синица, как и в хоре, живет за морем. Вторая песня, как и «Другой хор», содержит указание на то, каким именно было море (в песне – теплое, в хоре – холодное); и там, и тут синицу расспрашивают о заморской жизни, и она отвечает, перечисляя разные группы заморских жителей.

Но существует и дополнительная связь этих двух песен с маскарадом: у Чулкова за второй песней о синице следует песня «Станем братцы петь старую песню» [Чулков: № 200]. Эта песня представляет для нас двойной интерес. Во-первых, автором этой песни принято считать Ф.Г. Волкова, устроителя маскарада «Торжествующая Минерва» [Новиков: 41], [Каллаш: 170–171]. Во-вторых, эта песня рассказывает о золотом веке, то есть имеет прямое отношение к маскараду, в котором в шествии добродетелей была группа Золотого века. Более того, по форме она напоминает хоры маскарада, и можно с большой степенью вероятности предположить, что в нашем распоряжении второй из хоров, написанных для маскарада, но по какой-то причине выключенных из окончательного сценария (и, соответственно, не вошедших в печатное описание).

В «Преуведомлении» к первой части своего сборника Чулков указывал, что он включил в него песни «театральные, маскарадные, подблюдные, хороводные» [Чулков: 8]. Только названные песни в собрании Чулкова можно отнести к маскараду. Чулков собирал свои песни на протяжении длительного периода, нет сомнения, что в 1763 году песни его уже интересовали. Как ученик гимназии при Московском университете, знакомец, а возможно, и актер труппы Волкова, актер университетского, а с 1761 года и придворного театра [Западов: 270], Чулков не мог не знать устроителей маскарада. От кого-то из них Чулков, видимо, и получил список песен, которые не вошли в маскарад¹⁰.

Если это предположение верно, то можно добавить к нему еще одно. Между двумя песнями у Чулкова, в которых фигурирует синица (№ 196 и 199), находятся еще две песни, одна о смерти «комарища», который упал с дуба и которого оплакивают мухи, другая – о смерти мухи, которая утонула в бурном море и о которой горюют комары. Обе песни по своему характеру близки к маскарадной «превратной» тематике, и обе, возможно, рассматривались устроителями маскарада как альтернативный синице вариант для «Хора ко превратному свету». Для окончательного варианта, однако, песни о мухе и комаре выбраны не были, не попала в окончательный вариант и синица (она осталась в «Другом хоре»). Вместо нее, как мы видели, в хоре появляется собака¹¹.

В окончательный вариант «Хора на Превратный свет» из названных песен попало, если оставить в стороне «народную» стилистику хора, только указание на то, что главный персонаж (теперь уже собака) возвращается из-за моря, при этом «теплое море» песни о синице превратилось уже в «Другом хоре» в «полночное море» и «холодный океан»; таким море осталось и в окончательном варианте. Кроме того, из песни о синице была заимствована система перечисления: воеводы, дьяки, писцы, подьячие, старухи, кокетки, бездельники, большие бояре, дворянские дети, девки, невежи, ораторы, стихотворцы, купцы, крестьяне и проч., с той разницей, что каждой группе были приписаны свои пороки, точнее, их отсутствие «за морем» и наличие «у нас».

Эти элементы, сохраненные при всех усечениях текста, видимо, были важны для устроителей маскарада. Возможно, как и в группе Момуса, за загадочной синицей, а потом собакой стоял какой-то замысел императрицы, который должен был быть подан только в виде намека и адресован небольшой группе посвященных. Лицом же, которое недавно вернулось из-за «полночного моря», из-за «холодного океана», мог быть Н.И. Панин, который долгое время был русским посланником в Швеции и вернулся в Россию за два года до переворота. «Двенадцать лет, проведенные в Стокгольме, – пишет Бильбасов, – не пропали даром. Шведский „период свободы“, эпоха шляхетской демократии, когда Швеция была „аристократическою республикою с жалким подобием короля“ не могла не произвести на Панина известного впечатления». В период 1760–1762 годов у Панина была возможность довольно много и откровенно говорить с Екатериной, в том числе указать на «отличия, резкие, бросающиеся в глаза, между государственным различием Швеции и России». По мнению Дэвида Рансела, Екатерину даже можно назвать в эти годы ученицей Панина. Хорошо известно и о попытках Панина провести, опираясь на поддержку императрицы, реформу государственного управления. Манифест, подготовленный Паниным, Екатерина подписала 28 декабря 1762 года и вечером того же дня уничтожила [Бильбасов: 138–139 и след.], [Ransel: 44 и след.].

В Панине Екатерину в этот период особенно раздражало не столько прожектерство и не его критические взгляды на Россию, многое из того, что говорил и писал Панин, она разделяла. Но Панин, как, по крайней мере, казалось Екатерине, видел дурное только дома.

В «Собственноручном наставлении Екатерины II князю Вяземскому при вступлении его в должность генерал-прокурора» в феврале 1764 года она пишет, определенно намекая на Панина: «Иной думает для того, что он был долго в той или другой земле, то везде по политике той его любимой земли все учреждать должно, а все другое без изъятия заслуживает

его критики не смотря на то, что везде внутренние распоряжения на нравах нации основываются» [Сборник РИО: 346]. Если намек на Панина в маскарade действительно присутствовал, то в окончательном варианте он был представлен здесь собакой, которая вернулась из Швеции и стала было рассказывать, чего нет за морем, но ей запретили:

Я бы рассказать то умела,
Если бы сатиры петь я смела,
А теперь я пети не желаю,
Только на пороки я полагаю.
За морем, хам, хам, хам, хам, хам, хам.

Выбрав исходно синицу, Екатерина, возможно, помнила и о пословице, в которой фигурировали и синица, и море: «Ходила синица море зажигать: моря не зажгла, а славы много наделала». Позднее Екатерина использует ее в своей сказке «Горе-богатырь» (1774). Именно так видела императрица панинский проект реформы к концу осени 1762 года (или, по крайней мере, так хотела видеть): все реформаторские планы Панина свелись к старой песне – учреждению Верховного совета при императрице.

Но в подборке песен, которые оказались в сборнике Чулкова, была еще одна общая тема: амурные отношения между комарами и мухами, а в первой песне о синице – между снегирем и его предполагаемой невестой. Комический эффект в песнях о мухе и комаре возникает оттого, что о ничтожных мошках сообщается со всей возможной важностью, об их переживаниях и отношениях поется как будто они крайне важные особы (комар представлен как «камарище», а муха оказывается «княгиней»). В первой песне о синице, как мы помним, комизм выборов невесты заключается в том, что все невесты состоят в родстве со снегирем. Можно предположить, что этот сюжет также относился к Панину и представлял графа Панина, княгиню Е.Р. Дашкову и их загадочные отношения. Оба они к концу осени 1762 года представлялись Екатерине назойливыми насекомыми. Оба полагали себя персонами крайне значительными: Панин носился со своей реформой, которая обернулась ничем, Дашкова – со своим участием в перевороте. Их загадочная дружба вызывала раздражение Екатерины и пересуды при дворе. Раздражение дошло до того, что императрица запретила Панину рассказывать о государственных делах Дашковой. Пересуды же касались самих отношений: Дашкова была дальней родственницей Панина, супругой его племянника, а по слухам – его внебрачной дочерью, которая состояла с ним в любовной связи. Екатерина, видимо, не нашла все же удобным намекать на эти слухи, и в маскарade остались только намеки на любовь Панина к Швеции и готовность ругать Россию.

Вернемся к Диогену, который был философом-киником. Киников, как известно, называли «собаками». В сочинении Диогена Лаэртского сам Диоген постоянно говорит о себе как о псе или собаке. Так, вспоминая, что он был продан в рабство, он говорит, что как собака прибежал обратно к тем, кто его продал; когда «его спросили: «Если ты собака, то какой породы?» Он ответил: «Когда голоден, то мальтийская, когда сыт, то молосская, из тех, которых многие хвалят, но на охоту с ними пойти не решаются, опасаясь хлопот; так вот и со мною вы не можете жить, опасаясь неприятностей»; в другом эпизоде «Александр подошел к нему и сказал: Я – великий царь Александр. – А я, – ответил Диоген, – собака Диоген». Его смерть также связывали с собаками. «Говорят, – пишет Диоген Лаэртский, – что, когда он хотел разделить осьминога между собаками, они искусили ему мышцы ног, и от этого он умер. <... > На его могиле поставили столб, а на столбе – собаку из паросского камня. <... > Некоторые рассказывают, что, умирая, он приказал оставить свое тело без погребения, чтобы оно стало добычей зверей <... > чтобы он принес пользу своим братьям», то есть просил, чтобы его тело отдали на съедение собакам [Диоген Лаэртский: 215–226].

Все хоры маскарада были написаны от лица участников процессии или же обращены к участникам процессии, в них не появляются новые персонажи. Собака, лающая на пороки, которую мы встречаем в «Хоре ко Превратному свету», тоже не составляла исключения: и хор, и роль Н.И. Панина, по-видимому, должен был исполнять киник Диоген.

Оба рассмотренных эпизода маскарада по своему смыслу сходны. Нет сомнения, что придуманы они были при прямом или косвенном участии императрицы. Оба они обращены ко «всякого звания людям», и оба используют образы европейской популярной культуры, заимствованные из дидактических эмблемат, народной гравюры, ярмарочной комедии и т. п., то есть из-за пределов высокой литературы. Таким образом, просветительская программа маскарада заключалась, в том числе, в прививке подданным российской императрицы привычки и вкуса к европейской городской культуре (и превращении Масленицы в европейский карнавал, не бахтинский, конечно, но такой, каким он был в первой половине XVIII века и каким его могла помнить Екатерина). Одновременно, оба эпизода содержали намеки на лица, которые были понятны только императрице, устроителям маскарада (возможно, что и не всем) и небольшому кружку приближенных Екатерины. Императрица «учила шутя» не только своих подданных, но и своих приближенных.

Примечания

¹ Здесь и далее все цитаты из описания маскарада даются по изданию 1763 года [Торжествующая Минерва]. В описание включены «Стихи к большому маскараду», «Хоры», «Описание большого маскарада» и объявление, которое начинается словами «Сего месяца 30-го». В этом издании страницы не нумерованы, поэтому цитаты даются без указания страницы.

² Этот плафон был одним из пяти изображений Минервы, включенных в декор дворца [Калязина]: петровский Летний дворец был своего рода «храмом Минервы». При Елизавете здесь по крайней мере одно лето прожила великая княгиня Екатерина Алексеевна.

³ Без сомнения, Петр Федорович страстно желал походить на Петра I: его военные игры, потешные голштинские войска в Ораниенбауме, даже шутовской монастырь, который он хотел завести, его поездки «править святки» [Екатерина: 466], – все это было попыткой следовать примеру деда. В пересказе Екатерины все эти странности великого князя представлены как результат слабости характера и врожденной глупости.

⁴ По причине совпадения имен, а также на основании слов Боярдо о том, что Родоманд дышит адским дымом, этот персонаж отождествляют иногда с сыном Зевса Радаманфом, который вместе со своими братьями Миносом и Эаком был судьей в царстве Плутона.

⁵ Установить, в какой именно из итальянских комедий или интермедий Родоманд явился в Петербурге, довольно сложно: репертуар итальянской комедии елизаветинского царствования нам почти неизвестен, хотя представления давались регулярно [Волков: 210–211], [Журналы 1742–1761].

⁶ Превратный свет был традиционной темой европейского карнавала и потому как нельзя лучше подходил для масленичного маскарада (в официальной переписке маскарад «Торжествующая Минерва» назывался «карнавалом» [Волков: 154 и след.], как довольно часто, уже с начала XVIII века, называли гулянья на Масленицу).

⁷ О плачущем Гераклите и смеющемся Демокрите упоминают Лукиан в «Продаже жизней» (14) и Сенека в трактатах «О спокойствии духа» (XV, 2) и «О гневе» (II, 10, 5) [Фрагменты ранних греческих философов], этот сюжет представлен в «В книге эмблем» у Альциата [Alciato: № 153], откуда он перешел в целый ряд европейских эмблемат. В петровской Кунсткамере хранилась инсталляция из коллекции Рюйша, на которой два детских скелетика представляли плачущего Гераклита и смеющегося Демокрита [Петр I и Голландия: № 153, 236].

⁸ Старикова считает, что пьеса была поставлена Локателли, но, к сожалению, не указывает источника своих сведений [Старикова: 191]. В этой пьесе обыгрывается лишь один из традиционных сюжетов этого типа, в котором муж занимается рукоделием, а жена идет на войну.

В целом же пьеса построена вокруг отношений трех пар возлюбленных, которые представлены как война полов. Пьеса эта, конечно же, не являлась источником при подготовке «Торжествующей Минервы», но могла послужить своего рода напоминанием, отсылкой к традиции в целом.

⁹ В первую очередь, конечно, вспоминается ломоносовский «Гимн бороде», который начинается словами: «Не роскошной я Венере, / Не уродливой Химере / В имнах жертву воздаю» [Ломоносов: 263].

¹⁰ Для самого Чулкова маскарад был памятным событием: трудно усомниться в том, что название «Пересмешник», которое Чулков выбрал для своего собрания сказок (1766), было навеяно маскарадом «Торжествующая Минерва», тем более, что в предисловии автор говорит, что получил свое перо от Мома.

¹¹ Наряду с собакой здесь фигурирует соловей: он понадобился устроителям, видимо, потому, что для участия в маскараде была привезена «Весна», умельцы свистеть по-птичье. «Весна» была масленичным развлечением, участвовала и в Ништадтском маскараде Петра I, и в маскараде Анны Иоанновны в Ледяном доме. В «Торжествующей Минерве» она, как нужно полагать, должна была сопровождать группу Превратного света и свистела, когда в хоре речь шла о птицах.

Литература

- Берков / *Берков П.Н.* «Хор к превратному свету» и его автор // XVIII век. М.; Л., 1935. <Сб. 1>. С. 181–202.
- Бильбасов / *Бильбасов В.А.* История Екатерины II. Берлин, 1900. Т. II.
- Волков / *Ф. Г. Волков* и русский театр его времени: Сб. материалов. М., 1953.
- Гольдони / [*Гольдони К.*] Обращенный мир, драма увеселительная с музыкою. [М.:] при Московском имп. Университете, [1759].
- Гуковский 1935 / *Гуковский Гр.* О «Хоре ко превратному свету». (Ответ П.Н. Беркову) // XVIII век. М.; Л., 1935. <Сб. 1>. С. 203–217.
- Гуковский 1936 / *Гуковский Гр.* Очерки по истории русской литературы XVIII века: Дворянская фронда в литературе 1750-1760-х годов. М.; Л., 1936.
- Диоген Лаэртский / *Диоген Лаэртский.* О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., 1986.
- Екатерина / *Екатерина II.* Сочинения. М., 1990.
- Журналы 1742–1763 / Журналы камер-фурьерские. 1742–1763. Б.г., б.д.
- Западов / *Западов А.В.* Чулков // История русской литературы: В 10 т. М.; Л., 1947. Т. IV. Ч. 2. С. 270–277.
- Каллаш / *Каллаш В.В.* Материалы и заметки по истории русской литературы: Песни Ф.Г. Волкова // Известия Отделения русского языка и словесности Императорской академии наук. 1901. Т. VI. Кн. 3. С. 170–173.
- Калязина / *Калязина Н.В.* Монументально-декоративная живопись в дворцовом интерьере первой четверти XVIII века. (К проблеме развития стиля барокко в России) // Русское искусство: Барокко: Материалы и исследования. М., 1977.
- Ломоносов / *Ломоносов М.В.* Избранные произведения. Л., 1986.
- Новиков / *Новиков Н.* Опыт исторического словаря о российских писателях. М., 1987.
- Перетц / *Перетц В.Н.* Итальянские комедии и интермедии, представленные при дворе имп. Анны Иоанновны в 1733–1735 гг.: Тексты. Пг., 1917.
- Петр I и Голландия / *Петр I и Голландия:* Русско-голландские художественные и научные связи: К 300-летию Великого посольства. СПб., 1996.
- Проскурина / *Проскурина В.* Мифы империи: Литература и власть в эпоху Екатерины II. М., 2006.
- Ровинский / *Ровинский Д.* Русские народные картинки. СПб., 2002. Т. 1–2.
- Русский балет / *Русский балет:* Энциклопедия. М., 1997.
- Сборник РИО / *Сборник Императорского русского исторического общества.* СПб., 1871. Т. VII.
- Старикова / *Старикова Л.* Театральная жизнь старинной Москвы. М., 1988.
- Сумароков / *Сумароков А.П.* Избранные произведения. Л., 1957.
- Сумароков 1767 / *Сумароков А.П.* Оды и элегии / Изд. подгот. Р. Вроон (в печати).
- Торжествующая Минерва / *Торжествующая Минерва,* общенародное зрелище, представленное большим маскарадом в Москве 1763 г., января дня. Печатано при императорском Московском университете [1769].
- Трудолюбивая пчела / *Трудолюбивая пчела.* 1759. Январь.
- Фрагменты / *Фрагменты ранних греческих философов.* М., 1989.
- Чулков / *Чулков М.Д.* Собрание разных песен. Ч. 1, 2, 3 с Прибавлением, 1770–1773 гг. // Сочинения М.Д. Чулкова. СПб., 1913. Т. 1.
- Aesop / *Aesop's Fables.* Oxford, 2002.
- Alciato / *Alciato's Book of Emblems: The*

Memorial Web Edition in Latin and English [www.mun.ca/alciato/].

Ariosto / *Ariosto L.* Orlando furioso: In Italian and English / Translated by W. Huggins. London, 1755 [Electronic reproduction. Farmington Hills, Mich.: Thomson Gale, 2003].

Boiardo / *Boiardo M.M.* Orlando Innamorato / Translated with an introduction and notes by Ch.S. Ross; foreword by A Mandelbaum; English verse edited by A Finnigan. Berkeley, 1989.

Desportes / *Desportes Ph.* La Mort de Rodomont, et sa Descente aux enfers. Imitations de Quelques Chants de l'Arioste // Œuvres de Philippe Desportes. Paris, 1858. P. 336–352.

Farces du Grand Siècle / Farces du Grand Siècle: De Tabarin à Molière, farces et petites comédies du XVIIe siècle. Paris, 1992.

lones / *Jones M.* The English Print: A Companion to English Renaissance Literature and Culture. Blackwell Publishing, 2002.

Hadrianus / *Hadrianus*]. Emblemata. Antwerp, 1565.

Lafond, Redondo / *Lafond*], *Redondo A.* L'Image du monde renversé et ses représentations littéraires et para-littéraires de la fin du XVIe siècle au milieu du XVIIe. Paris, 1979.

Wortman / *Wortman R.* Scenarios of Power: Myth and Ceremony in Russian Monarchy from Peter the Great to the Abdication of Nicholas II. Princeton, N.J., 2006.

Вера Проскурина

Екатерина-целительница

Сакральная традиция и политический контекст

XVIII столетие в европейской истории ознаменовалось всеобщим падением веры в магические свойства королевской власти – в чудесную силу королевского касания, «исцеляющего» недуги. Короли-целители, налагающие всемогущую руку на гнойные чирьи золотушных больных, раздающие чудесные облатки или вешающие на шею больного врачушую монетку, выходили из моды. В 1714 году, после смерти королевы Анны, в Англии был отменен этот старинный ритуал. Одновременно с падением престижа королевского магизма в Англии происходило укрепление власти парламента. Реальная политика вытесняла сверхъестественную демонстрацию власти. Во Франции процесс десакрализации власти затянулся, несмотря на насмешки философов и переходящее все границы распутство Людовика XV. Современники острили, что его любовницы все же умирают от золотухи, несмотря на то что король их «касался». В 1774 году, после обычного визита в Трианон для встречи с шестнадцатилетней девицей, представленной ему графиней дю Барри, король заразился оспой и вскоре скончался. Через три дня умерла и юная подруга короля, наградившая короля смертельным вирусом. Смерть монарха-«целителя» от оспы в эпоху практики инокуляции вызвала саркастический отклик Екатерины II, писавшей Мельхиору Гримму 19 июня 1774 года: «Стыдно Французскому королю, в XVIII столетии, умереть от оспы»¹.

Короли не только были не в состоянии поддерживать репутацию «главного врача нации», но все чаще сами оказывались подвержены эпидемическим заболеваниям, от которых умирали простолюдины. Настоящим бичом XVIII века в Европе стала оспа – неожиданно бурный всплеск этой болезни не обошел практически ни одного королевского дома. В 1711 году от оспы умер император Иосиф I. За несколько дней до его смерти от той же болезни скончался сын Людовика XIV и наследник французского престола. В 1724 году оспа сразила короля Испании – Луиса I².

Злосчастная болезнь вмешалась в и без того запутанные дела русского престолонаследия. В 1730 году четырнадцатилетний Петр II, внук Петра Великого и сын царевича Алексея, умер от оспы, заразившись от невесты Екатерины Долгорукой. В 1741 году умерла от оспы королева Швеции Ульрика Элеонора, приведя в смятение два двора (русский и датский), притязающие на объявление удобного им наследника. Елизавета Петровна, как известно, всю жизнь оплакивала потерю жениха – Карла-Августа Голштейн-Готторпского, также сраженного этой болезнью. Ее племянник Петр III, за несколько недель до приезда невесты, будущей Екатерины II, заболел оспой, выжил, но был настолько обезображен рубцами, что Елизавета Петровна приказала устроить первую встречу жениха и невесты в полутемной комнате.

В 1760-е годы оспа вновь посетила австрийский двор. Сын императрицы Марии-Терезии, будущий Иосиф II, потерял беременную жену Изабеллу. В 1767 году от оспы умерла его вторая жена, а затем и сестра. Сама Мария-Терезия переболела оспой и чудом осталась жива.

В 1768 году от оспы скончалась графиня А.П. Шереметева, невеста Н.И. Панина. Близость болезни и смерти настолько потрясла Екатерину, что она решилась прибегнуть к самому современному методу борьбы с натуральной оспой – привитию оспенного «материала», или инокуляции. При этом императрица сразу же объявила, что будет первой в стране, кто на собственном опыте проверит действенность нового метода, против которого восставало все ее окружение. Во Франции инокуляция была вообще запрещена, поскольку церковные круги полагали, что она противоречит представлению о Провидении.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.